

Офицерский
Честь и имя
роман



*Николай
Черкашин*

Пластун

Офицерский роман. Честь имею

Николай Черкашин

Пластун

«ВЕЧЕ»

2018

Черкашин Н. А.

Пластун / Н. А. Черкашин — «ВЕЧЕ», 2018 — (Офицерский роман. Честь имею)

ISBN 978-5-4484-8263-2

В основе нового романа известного российского военного писателя Николая Андреевича Черкашина полная крутых поворотов и авантур, падений и возвышений, потерь и удач судьба русского казачьего офицера-пластуна Николая Проваторова. Она прослеживается на фоне реальных исторических событий – с Первой мировой войны до начала Великой Отечественной. Ключевая тема – верность главного героя Родине и присяге при любых жизненных обстоятельствах.

ISBN 978-5-4484-8263-2

© Черкашин Н. А., 2018

© ВЕЧЕ, 2018

Содержание

Вместо пролога	6
Часть первая. «Между враждебными берегами...»	7
Глава первая. Гродненские каникулы	7
Глава вторая. Кларнет или шашка?	14
Глава третья. Солдат врага ждет, пластун врага ищет	17
Глава четвертая. Комендант перевала	20
Глава пятая. На кисловодских водах	25
Глава шестая. Кто в Сморгони не бывал, тот войны не видал	31
Часть вторая. Саламандра с острова смерти	40
Глава первая. «Мы встретились как родные братья...»	40
Глава вторая. Если не мы, то кто?	44
Глава третья. На черной «щуке»	51
Глава четвертая. Великий отступ	59
Глава пятая. Анна на рельсах	62
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Николай Черкашин

Пластун

© Черкашин Н.А., 2019

© ООО «Издательство «Вече», 2019

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020

Сайт издательства www.veche.ru

* * *

В ту войну прапорщики жили в среднем не больше двенадцати дней.

Михаил Зощенко.

Перед восходом солнца

Вместо пролога

Казакъ-пластунъ – самостоятельная единица съ своей душой, каждому смѣло можно дать опасное и сложное порученіе, и онъ его выполнить блистательнѣйшимъ образомъ. Поэтому, вѣроятно, въ массу пластуны теряются, обезличиваются стараньемъ сдѣлать изъ ста душъ одну; поэтому же, вѣроятно, всѣ свои героическіе подвиги пластуны совершали въ одиночку, безъ шума, по секрету. Ни въ атаки сплошнымъ строемъ, ни въ другія военныя операціи пластуны не годятся такъ, какъ годятся, будучи пущены въ одиночку, предоставленные самимъ себѣ. Пластунъ по духу – партизанъ, только пѣшій, вся сила котораго заключается въ умѣнїи тихо и неожиданно являться за спиной безпечнаго часоваго, пикета и т. п.
«Записки пластуна»¹

В лето 1914 года студенты Петербургской консерватории Николай Проваторов и Павел Мартынов отправились с Варшавского вокзала невиской столицы в город Гродно. Проваторов пригласил своего друга на летние каникулы к себе домой, и теперь друзья, стоя на открытой площадке вагонного перехода, наслаждаясь дорожным ветром и солнечным небом, без стеснения, что их могут подслушать, вели откровенный разговор:

– Ну, и что хорошего в твоём Гродно? – Подначивал Николая Павел. – Представляю себе это провинціальное местечко, вроде нашего Таганрога: булыжные мостовые, купеческіе лавки и манерные худосочные барышни, мечтающие о женихах и столичных развлечениях.

– Во-первых, не местечко, а старинный город-крепость, воспетый самим Пушкиным:

Между враждебными берегами
Струился Немен; на одном
Еще над древними стенами
Сияли башни и кругом
Шумели рощи вековые.
Всяк переправу охранял.
Ток Немена гостеприимный,
Свидетель их вражды взаимной,
Стал прагом вечности для них.

Во-вторых, барышни в Гродно вовсе не худосочные, а настоящие красавицы польской крови, веселые, дерзкие, умные. А сестры, с которыми я тебя познакомлю, те и вовсе казачки...

¹ Текст приводится в дореволюционной орфографии.

Часть первая. «Между враждебными берегами...»

*Будущее, как известно, бросает свою тень задолго до того, как
войти.*

Анна Ахматова

Глава первая. Гродненские каникулы

Гродно. Июнь 1914 г.

ИЗ ДНЕВНИКА НИКОЛАЯ ПРОВАТОРОВА:

«...Сестры, с которыми я собирался познакомить Павла, были дочерьми отцовского односума, как называют казаки своих однополчан, Василия Климентьевича Ухналева – старшая Кристина и младшая Таня. Василий Климентьевич взял в жены очень красивую польку, которая, хоть и вышла из католичества, приняла православную веру, все же дочерей нарекла польскими именами Кристина и Франя. Тем не менее отец настоял, чтобы младшая носила русское имя, и после долгих семейных споров Франя была крещена в Татиану. Таню.

Я был влюблен в старшую еще с восьмого класса гимназии, и, конечно же, невольно вводил Павла в заблуждение относительно младшей, которая никак не могла претендовать на роль барышни, достойной ухода, поскольку нынешней весной ей только что исполнилось 17 лет. Я намеревался подразнить своего друга красотой Кристины, едва ли не первой гродненской невесты. В доме Ухналевых собиралось весьма благородное общество, бывали там на молодежных вечерах и прехорошенькие подружки сестер из кармелитской женской школы. В общем, в любом случае скучать моему сотоварищу в Гродно не пришлось бы. Я же намеревался всерьез объясниться с Кристиной после двух лет нашей почтовой переписки.

Через год я заканчивал консерваторию по классу деревянных духовых инструментов (я играл на кларнете и флейте) и меня прочили в оркестр императорского Мариинского театра. Кристина была весьма наслышана о моих успехах от мамы, и я полагал, что мое предложение упадет на готовую почву. Да и где как не в столице блистать такой красотой, какой наделили Всевеликое войско Донское и Речь Посполитая дочь казака и шляхетки Крестину Ухналеву?

Увы, мы попали с Павлом, что называется, к шапочному разбору: востроглазая Таня успела предупредить меня, что сегодня отец объявит о помолвке Кристины с неким Антоном, поручиком из полка гродненских гусар. Таня умоляла меня не стреляться – она была уверена, что все отвергнутые претенденты на руку красавиц должны обязательно застрелиться с горя. Весь вечер она не отходила от меня, пытаясь развлечь всевозможными пустяками. Зато Павел ничуть не пожалел о том, что уехал не в родной Ростов-на-Дону, а в Гродно-на-Немане. Он мгновенно подхватил себе стройную паненку из гостей и вскоре исчез с ней в вечерних аллеях старинного парка.

С Павлом Мартыновым я сошелся на первом же курсе петербургской консерватории. Среди лощеных и большей частью изнеженных студийцев-музыкантов он выделялся и своей казачьей статью, и музыкальным талантом, и независимым поведением.

Именно он, узнав, что я тоже казачьих кровей, предложил мне ходить по воскресеньям в манеж при кавалерийской юнкерской школе на Ново-Петергофском проспекте, где когда-то в школе гвардейских подпрапорщиков учился Лермонтов и где в «царской сотне» преподавал вольтижировку его старший брат есаул Мартынов. Я боялся уточнить – уж не родственник ли он тому Мартынову, который вызвал поэта на дуэль, боялся, чтобы ненароком не обидеть Павла. Мало ли каких совпадений не бывает в жизни?

И мы ходили в манеж по субботам, седлали коней, гоняли их на корде, скакали сами на всех аллюрах и довольно уверенно держались в седле.

Отец мой был очень рад и нашей дружбе, и нашим кавалерийским занятиям. В консерваторию он отпустил меня с большой неохотой, надеясь, что я – его единственный сын – пойду именно по его военным стопам. Но мама, уверовав однажды в мой абсолютный музыкальный слух и мою великую музыкантскую будущность, убедила сурового отца сделать выбор в пользу консерватории. Да и мне, чего греха таить, хотелось вольной студенческой жизни куда больше, нежели юнкерской муштры в каком-нибудь новочеркасском училище.

«Ну, ладно, – тяжело вздыхал отец, – трубачи в полках тоже нужны. Рубака из тебя, смотрю, никакой. – Пребольно щупал он мои бицепсы. – Ну, что ж, будешь капель-дудкой!» И при этом всегда рассказывал мне страшную историю, как у них в соседнем полку норовистый конь поддал головой сидевшему на нем флейтисту да так, что мундштук флейты пробил музыканту гортань и вышел в вязах. Однако ни запугать, ни отвратить меня от музыки не смог. Музыку я любил и в консерватории выбрал себе класс деревянных духовых инструментов профессора Зимина.

Паша же шел по классу оркестровки духовой музыки.

К началу лета 1914 года мы сдали все экзамены и благополучно перешли на последний курс. Потому и отправились отдыхать в весьма мажорном настроении. Шиканули – взяли на Варшавском вокзале билеты не в третий, а во второй класс и чувствовали себя на седьмом небе блаженства. Я вез своего лучшего друга в родной город Гродно в тайной надежде, что Паша влюбится в одну из тамошних красавиц и навсегда останется после выпуска в моем городе. Сам он природный донской казак из-под Ростова. Но ведь и у нас в Гродно испокон веку стояли казаки. Мой отец войсковой старшина Андрей Проваторов командовал казачьим полком, расквартированным недалеко от вокзала. Здесь, на самом западном рубеже России, на Немане, казаки прикрывали кратчайшую дорогу на обе российские столицы и однажды уже попытал себе счастья Буонопартий, как называл Наполеона отец.

Павлу очень понравились и мои родители, особенно отец, и сам город над могучей быстрой рекой, не чета медлительной Неве, и сестры Ухналевы, и их девичье окружение.

И вот теперь с высоты небес я был повержен на грешную и унылую землю – Кристина выбрала не меня...

Июньская ночь благоухала сиренью и жасмином. Этот прекрасный горьковатый аромат престранно щемил душу, рождая ощущение тревоги. Только потом я пойму, что слитный запах этих простых цветов всегда будут предвещать мне начало всех войн в моей жизни... А тогда я просто упивался им и своим первым любовным горем, и этим ночным одиночеством под сенью стен древнего замка...

Домой я возвращался один в весьма мрачном состоянии духа. Собственно, домой я и не пошел, а отправился на высокий берег Немана, где стоял Замок. Дорогу мне то и дело пересекали войсковые обозы, колонны солдат, конные батареи. Все они двигались куда-то под покровом ночи. В Гродно в то лето было необыкновенно много всяких войск. Я не придавал этому никакого значения. Я думал о том счастливом поручике, который увел у меня Кристину. Неужели она прельстилась его гусарским мундиром? Может быть, и мне надо было поступать в Николаевское кавалерийское училище, как настаивал отец, а не в консерваторию?

«В нашем казачьем роду все были строевыми офицерами, – убеждал он меня. – А из тебя в лучшем случае выйдет полковая капель-дудка... Ладно, учись, – безнадежно махал он рукой, видя, как перекашивается мое лицо. – Трубачи тоже нужны».

К музыке меня при страсти ла мама, сама выпускница московской консерватории по классу вокала. Она прекрасно пела – до моего рождения, а потом целиком посвятила себя

семье, кочевой жизни казачьего офицера. После ранения в Порт-Артуре войсковой старшина Проваторов определился на более-менее спокойную службу в Корпус пограничной стражи и навсегда осел в Гродно. Правда, каждое лето отправлял нас с мамой на Дон, в свою родную станицу Зотовскую, где доживала свой век моя бабушка Евпраксия.

А может, прав был отец? Если бы я предстал перед Кристиной во всем блеске казачьего мундира, она бы сделала иной выбор?!

Я услышал за спиной торопливый постук легких туфельек, оглянулся – меня догоняла Таня, придерживая на скором шагу подол длинного бального платья.

– Почему вы так рано ушли? – спросила она меня, слегка запыхавшись. – Даже десерта не дождались!

– Мне показалось, что мой уход никто не заметит.

– Что за глупости?! Конечно заметили! Кристина послала меня за вами! – слукавила Таня, но я не стал ей возражать. Мне было приятно, что этой девушке мое присутствие на вечере было вовсе небезразлично.

– Я так бежала, что чуть не попала под лошадь! Почему так много военных сегодня?

– Наверное, начались большие маневры... Не соблаговолите ли вы немного прогуляться со мной?

– Соблаговолю. Только недолго. Мы должны вернуться к мороженому, – капризно заявила она. И вдруг улыбнулась.

Я посмотрел на нее так, как будто видел впервые.

В ней, 17-летней девушке, с виду примерной и прилежной гимназистки, уже томила женщина, искусительная, влекущая, игривая, и, возможно, коварная... Но я видел в ней одни совершенства и даже представить себе не мог, что эта весьма незаурядная барышня может опуститься до пошлости записной кокетки. О, нет! Татьяна слишком умна, тонка и благовоспитанна, романтична, наконец, чтобы копировать дурные манеры провинциальных львиц. Она совершенно особенная! Таких любили изображать художники-романтики в образе Флоры и Хлои. Кудряшки на висках, глаза с поволокой, пухлые губки...

Мы поднялись на стену старого замка, сложенную из дикого камня. Под стеной, под крутым склоном крепостного вала величаво нес свои воды Неман. Я придерживал Таню за руку, чтобы она не упорхнула в неогражденное пространство. Мне вдруг стало весело: передо мной была моя Кристина, только в лучшем исполнении – более живая, непосредственная, смешливая... Мы долго бродили по набережной. Конечно же, пропустили десерт. Я проводил ее к калитке ее дома. И поцеловал на прощание... Сначала в щеку, а потом, так уж нечаянно вышло – в губы...

* * *

Родители мои жили в казенной квартире при полке. Казармы располагались по ту сторону от железнодорожного вокзала. Мне очень нравилась и наша квартира и наш дом, хотя мама постоянно ворчала, что ей надоело жить в конюшне. Полковые конюшни и в самом деле находились в полуподвальном этаже нашей трехэтажной казармы. Сделано это было для того, чтобы всадники по боевой тревоге бежали не через двор, а из спальных помещений на втором этаже сбегали по широким лестницам в цоколь, седлали там коней и выезжали через высокие ворота по пандусу прямо на плац. Офицеры и их семьи размещались на третьем этаже в довольно просторных и теплых квартирах, поскольку толстые каменные стены еще николаевской постройки хорошо держали тепло, да и печи денщики топили исправно.

И хотя в городе было большое офицерское собрание, тем не менее, офицеры-казаки чаще всего собирались у нас в силу хлебосольности отца и домашнего уюта, который мастерски поддерживала мама. Собирались сотники и есаулы, и тогда наша казенная квартира превращалась в подобие куреня или корчмы. Тут царил дух казачьего братства, тут можно было услышать разговоры всех округов Дона и Хопра, тут играли старинные дедовские песни, тут наперебой вспоминали и проделки детства, и отчую старину, и случаи из походной жизни. Мама, накрыв стол, уходила к соседке, чтобы не стеснять мужчин своим присутствием. Отец верховодил за столом и как хозяин дома, и как полковой начальник. Мне тоже находилось место за столом, только в мой бокал наливали либо морс, либо оранжад. Потом наступал и мой черед. Отец представлял меня гостям как начинающего музыканта и первым делом просил исполнить «Кукушечку». Я ловил одобрительные взгляды, вдохновлялся, а потом переходил к алябьевскому «Соловью» и завершал свой концерт «Свадебным маршем», дарованным императором лейб-гвардии Казачьему полку в качестве полкового гимна. Офицеры дружно предрекали мне великую будущность и поднимали бокалы за Проваторова-младшего, то бишь за меня, а потом дарили мне все, что находилось в карманах их шаровар: револьверный патрон, черепаховый гребешок, старинный польский злотый или затейливую зажигалку. А на мое 16-летие сослуживцы отца вручили мне турецкий зюльфак – кинжал с раздвоенным лезвием. Кинжал был изъят отцом до более взрослых и благоразумных времен. Но я всегда о нем помнил и весьма сожалел, что не взял его с собой на воинскую службу.

Каждое лето родители привозили меня в свои родные края – в Хоперский округ области войска Донского.

Отец был родом из станицы Зотовской на Хопре, а мама родилась не столь далеко – в станице Павловской, что на Бузулуке, притока Хопра. Именно в этих заповедных местах отходил я от города, набирался казачьего духа и умения. Поскольку родился я на берегах Немана, в Гродно, оба деда мои считали меня городским дитем, а значит, существом изнеженным и балованным. И хотя это было не так: я неплохо держался в седле и отчаянно нырял с моста через Бузулук – все равно ловил их насмешливые взгляды из-под густых бровей. Особенно недоумевали они, когда узнали о моем намерении стать музыкантом. О музыке оба имели представление разве что по полковым духовым оркестрам да станичным гармонистам и совершенно не догадывались, каким настырным каждодневным трудом занят профессиональный музыкант.

В Зотовскую я всегда ехал с большой охотой. Красивая и богатая станица стояла на речном торговом пути и потому тучнела издавна. Казаки из нее большей частью выходили в офицеры, и потому станица так и звалась – Офицерская. И то сказать – до четырех тысяч казачьих офицеров населяли ее в лучшие времена.

Курени, порой в два верха, да каменные амбары, пораскиданные по увалам хоперской поймы, открывались не сразу. Первым маячил с дороги церковный крест, будто корабельная мачта выходящего из-за горизонта корабля. А потом и сам «корабль» появлялся – высокий осанистый зотовский храм с колокольной – Знаменская церковь. Говорили, что за боевую лихость в сражениях зотовских казаков сам атаман Матвей Платов подарил храму 40-пудовый колокол.

Дорога шла главной улицей станицы вдоль Хопра со спусками к берегу, к воде, прорубленным в густых почти джунглевых зарослях дикой ажины, бересклета, ивняка...

В Зотовской меня ожидала ловля раков, добрая рыбалка, купание коней в быстрой зеленоватой холоднющей хоперской воде и прочие забавы. Ну и, конечно же, дед с бабушкой.

Отец отца, мой дед, Афанасий Лукьянович Проваторов, природный пышнобородый казак с ясными голубыми глазами, владел шорной мастерской и был церковным старостой в зотовском храме. В раннем детстве он казался мне человеком величественным и всемогущим, как бог Саваоф. Всякий раз, когда я приезжал из города в станицу и представал перед его очами, он смотрел на меня без умиления, но со строгим интересом:

– Ну, что, Никола, куда пика смотрит? Чем отца тешить будешь?

Я молчал, боясь ответить не в лад, прогневать деда неверным ответом. За меня отвечал отец:

– К музыке его клонит. Не в нашу породу пошел... Шашку на дудку променял.

– К музыке?! – удивленно восклицал дед. – Цымбалить будешь? Тож не худо. На свадьбы звать станут. А там, глядишь, в полку и в трубачи выбьется. А чего сам-то молчишь? Оробел, ай? У нас в роду робких не было. Дед твой рубился, я те дам! Вон смотри сколько урубов!

И дед стягивал рубаху с плеч, показывая застарелые шрамы от турецких ятаганов.

– Больно было? – сочувствовал я.

– А то?! Резвиями секли, не сербукой пороли. Кубыть калган не снесли. Хошь рубиться научу?

– Хочу, – неуверенно отвечал я.

– Сем-ка шашку сниму.

Дед снимал с настенного ковра шашку, и мы шли на баз, где старый рубака втыкал в землю лозу, украшая ее глиняными шарами-головами. И дед учил меня страшному искусству рубки человеческих тел. Куда должно полоснуть лезвие шашки, да как его потянуть потом, да как рубануть так, чтобы голова сразу с плеч. И как острием достать, если враг отпрянет.

– Вишь, как я – с потягом да с вагой. Тут яму и лабец пришел!

Глиняная «голова» скатывалась к моим ногам.

– Это тебе, браташ, наша проваторовская рубка, все одно что баклановская. Учись, пока дед жив. Ну а дишканить-то ты можешь, раз к музыке клонишься?

– Могу.

– «Кукушечку» знаешь?

– Знаю.

– Ну, сыграешь вечор. Бабка котломань на стол поставит, казаки соберутся – сыграешь.

Бабка моя, Анфиса Дормидонтовна, быстрая и боевитая под стать деду, загодя ставила тесто к нашему приезду, а к вечернему застолью пекла котломань – слоеный пирожик с мясом и рисом. На серьезную еду приглашались серьезные люди, полковые товарищи деда, односумы, доводившиеся ему сродственниками по самым разным линиям и свойствам. Приходил и ставиничный атаман, степенный казачина в погонах подьесаула. Дед швырял ему в ноги нагайку, как положено – почетному гостю, атаман поднимал ее и, облобызавшись, вручал ее деду. Баба Фиса выставляла на стол свой знаменитый пирог, выбирали гулевого атамана, и начиналось застолье. Под котлубань пили самогон и закусывали соленым арбузом. Ни то ни другое мне не нравилось, бабушка ставила передо мной кус пирога и калганчик – деревянную чашку – с каймаком.

Разговоры за столом шли то вперебой, то в один лад. Дружно ругали столичных политиков за то, что втравили казаков в усмирение беспорядков 1905 года.

– Из казаков полицейских сделали, суки! У них там жандармов невпроворот, а они нас под бунтовщиков бросили.

– У жандармов рожи больно толсты, кирпич мимо не пролетит.

– Казаки, они лавой на врага ходить приспособлены. А тут мужиков нагайками пороть. Тьфу! Страмота одна!

– Это, братцы, нам ишшо аукнется. Народ он все помнит. И попомнит.

– Ишь, удумали против православного царя иттить. А кого взамен? Карлу бородатого? Видал я его патрет. Бородища, как у нашего вахмистра в сотне.

– Тот еще вахмистр! Казак с Иордана.

– А вот атмирал Дубасов отдубасил всех бунтовщиков и Москву спас. Так царь ему в ножки поклонился.

– Та не бреш. Чтоб царь да слуге своему в ножки!

- Слуга, скажешь – атмирал!
- Это кой-то по-нашему будет? В чине каком?
- Почитай, полный генерал. Только морской.

Вволю наговорившись, навспоминавшись, казаки затягивали «Кукушечку». Протяжную и печальную песню они пели, как молитву, как панихиду по безвестно сгинувшим казак-односумам на болгарских шипках да маньчжурских сопках, поминая всех, чьи кости были рассеяны по полям сражений на Дунае и Тереке, Висле и Амуре... Пели так, что душа плакала, а глаза сухие были.

Песня, подкрепленная серебряным блеском казачьих погон, звоном крестов и медалей, притоптыванием сапог, лихим посвистом и, наконец, ладонями, рубившими воздух в такт наигрыша, не просто пелась, а игралась.

Пели шуточные – «Служил Яшка у попа» – и пародийную казачью «лезгинку»: «На горе стоял Шамиль»...

У деда Афанасия и бабки Анфисы я бывал много реже, чем у маминых родителей. Большую часть лета проводил в станице Павловской, на бузулукском берегу. Там тоже были и раки, и рыбалка, и конное купание... И просторный живой дом, где половицы скрипят, ходики тикают, дрова в печи потрескивают, петухи кричат и кот мурлычит. И повсюду пестрели петушиные перья, застрявшие в бурьяне или колючих шарах перекати-поля.

Если дед Афанасий учил меня рубке, то его сват, мамин папа, Макар Степаныч, учил верховой езде. Сам он, поджарый, без лишнего веса, легко держался в седле и в молодости совершал конные переходы из Тифлиса в Тебриз, то есть из Грузии в Персию. По чину он был отставным хорунжим, держал небольшую конюшню, где готовил болдырей и новобранцев к строевой казачьей службе. Бабушка Серафима Петровна учительствовала в местной трехклассной школе и считалась самой образованной во всем юрте казачкой. Это не мешало ей держать курень в идеальном порядке и помогать мужу на конюшне. Она и сама великолепно держалась в седле. Однажды мы все втроем отправились верхом в неблизкий Урюпинск. Мне поседлали спокойного маштачка, и мы двинулись в свой поход с третьими кочетами. Шли то рысью, то шагом, любуясь красотами родного прихопёрья. Я оглянулся: станица наша, малорослая в отличие от Зотовской, казалось придавленной высоченным небом. Она как бы съехала от простора степи. Белесые дымки тянулись из труб в небо чуть искоса, как ковыль под ветром. Хозяйки топили печи и баньки к субботе. А мы любовались разноцветными далями, пестро-полосатыми от полей и перелесков, дубрав и левад, видные с высоты холмов и седел до самых тонких горизонтов. Поднебесные дали хоперской лесостепи простирались далеко. Шли через дубравы с могучими кряжистыми стволами, с богатырским размахом толстенных ветвей. Казалось, будто явились они из стародавних былин и повиты были колдовскими чарами. За ними – за ериком – открывались дремучие буреломы в густых мшаниках, осинники, облюбованные лосями и бобрами – обглоданные сверху и точеные снизу. Дерн тут был взрыт под дубовой сенью кабанами, то тут, то там чернели зевы лисьих, а то и енотовых нор... Кони прыгают ушами и пофыркивают, чуя дикого зверя. Мне нравится, что бабушка Серафима бабушка только по семейному чину, а так – удалая казачка, которая в свои сорок пять выглядит так, что хоть завтра замуж, да и с конем управляется не хуже иного джигита.

В Урюпинске, столице нашего округа, первым делом идем в храм на поклон урюпинской Божией Матери. Эту удивительную икону долгое время не признавали за святую, слишком уж выбивался образ Богородицы из канона. Она похожа на картину эпохи Возрождения кисти Рафаэля – простоволосая юная дева с младенчиком на руках. Но после ряда чудотворных исцелений церковные иерархи признали новоявленный образ и внесли урюпинскую Божию Матерь в общий канон.

Отдав Богу богово, мы отправляемся в гости к старшему брату бабушки, который живет на окраине городка в двухповерхнем курене. Дядя Родя, Родион Никитич Секанов, после

службы ушел в городовые казаки и владел в Урюпинске небольшой маслобойней. Он, наверное, самый богатый из нашей хоперской родни, у него есть даже свой автомобиль – старенький «даймлер», который дядя Родя перебрал собственными руками и вернул ему возможность катить собственным ходом. Пока наши кони жуют овес на коновязи, дядя Родя катает нас с бабушкой по дороге вокруг Урюпинска. Машина идет со скоростью коня в намете, а то и больше. Дух захватывает от такой быстроты! А какой шлейф пыли стелется за ней! Придорожные быки изумленно провожают взглядами механическое чудо, поводя рогами. Ан, не достать нас, голубчики, не догнать! И стадо гусей разлетается в заполошном ужасе и гвалте. И казаки, одетые по субботе нарядно, разглядывают наш самобеглый тарантас с большим любопытством. Мне нравится запах бензина, запах подушечных кож, даже запах пыли нравится, взметенной нашими колесами. Дед Макар в автопрогулке участия не принимает – то ли считает зазорным для себя трястись на «антомобиле», то ли опасается, что запах бензина не понравится коням и те начнут озоровать. К нашему приезду он раскочегарил с хозяйкой дома трехведерный самовар, и мы садимся к столу, пьем чай со свежее испеченными калабышками и липовым медом.

Этот наш замечательный поход, совершенный на мое четырнадцатилетие, остался в памяти как самое яркое воспоминание из отрочества.

Здесьняя земля называлась лесостепью, но на степь – ровную бескрайнюю ковыльную – походила мало. Была она весьма неровной и весьма красивой в своей неровности – в застывших земляных волнах, увалах, оврагах, холмах-кочегурах, яриках, в своих дубравах и сосняках, полях и перелесках. По-настоящему степной простор открывался лишь с вершин курганов или с крутизны хоперского берега, когда взгляд тонул в синеве лесистого окаема, набегавшись перед тем по чересполосице зотовских полей, зелени левад, садов, бахчей, выпасов... И венцом всей этой красоты кружил в ясно-голубом небе острокрылый сокол-сапсан, зорко следя за порядком в своих угодьях. По ночам над станицей, над Хопром, над головой творилось таинственное и торжественное надмирное кружение звезд.

Днем же солнце палило нещадно, так что от зноя воздух жужжал и свистел, от жары у быков рога лопались. А мы купали коней в Хопре. Казачата в трусах и старых дедовских фуражках мчались охлюпкой к конскому броду. А по пути сбивали фуражками жирных слепней с конских шей и боков.

Напуганные нашей скачкой удода-дудаки вспархивали из-под копыт и разлетались по зарослям терна.

Быстрая зеленоватая вода с журчаньем обтекала ноги коней, а потом, когда те входили в реку по брюхо и более, сносила хвосты и гривы на одну сторону. Коня фыркали, но охотно входили в воду, пробовали ее сначала на нюх, потом на вкус, а уж потом, понукаемые нетерпеливыми всадниками, шли на глубину и плыли, выставив морды над водой, к другому берегу, к его белым зыбучим пескам.

Я тоже плыл рядом с Серко. Течение наваливало меня на коня, прижимало к горячей шее, и мы плыли почти вплотную – ухо в ухо. И глаза наши были рядом, и мы понимали друг друга без слов – у обоих захватывало дух от бездны под ногами. Одной рукой я держался за гриву, другой греб, стараясь не думать о сомах-живоглотах, притаившихся на дне омуты. Но рядом перебирало ногами большое могучее существо – конь, и это внушало уверенность, что коварная река с нами не справится, что мы одолеем ее вместе. Именно конь первым чувствовал дно, взбивая копытами илистую муть. Тут же шея его выступала из воды, и по мерной игре мускул я понимал, что Серко уже не плывет, а ступает по земной тверди, и самое время забираться ему на спину.

Эх, сколько же воды унес Хопер, пока я учился в Питере...

Глава вторая. Кларнет или шашка?

Гродно. Август 1914

В Гродно я привез из Питера свой романс, который написал на слова Павла. Посвящение на партитуре обозначали две буквы – «К.У.» – Кристине Ухналевой. Вместе с ней – в четыре руки – мы сыграли романс на великолепном фортепиано из красного дерева, которое стояло в гостиной. Кристина благосклонно приняла мой дар. Перед тем мы долго репетировали вещьцу вместе, сидя рядом, сидя тесно, соприкасаясь то плечами, то кистями рук и даже коленями... Кристина чувствовала себя виноватой и старалась хоть как-то смягчить мою душевную рану. Вечером публика рукоплескала нам и моему первому творению. Право, это был удачный дебют, и окрыленный успехом, я сразу же стал сочинять новый романс, но уже с другим посвящением – «Т.У.»... Несколько раз я ловил на себе испытывающий взгляд Тани. После ночного поцелуя между нами возникло нечто большее, чем доброе знакомство... И на мазурку, и на полонез, и на вальс я приглашал только ее, ни разу не предложив свою руку Кристине. Впрочем, ей было с кем кружить на балу. И я старался не глядеть в их сторону.

А у Павла оказался замечательный баритон, и он покориł всех исполнением арии «Варяжского гостя». Какими восторженными глазами смотрела на него в этот момент Верочка, Танина кузина и гимназическая подруга! Я был рад за своего друга и гордился им перед всеми знакомыми. Отец подарил ему свою боевую донскую нагайку с волкобоем. Перед тем по обычаю шутейно, но весьма ощутимо, трижды хлестанул его по спине: за Родину, за казачество, за веру православную.

* * *

Едва ли не каждый вечер мы уходили с Таней бродить по Коложскому парку близ древней Борисоглебской церкви. Выйдя на обрыв наднеманского берега, затаившись в кустах сиреневых зарослей, мы целовались там до сладостного головокружения...

– Я так боялась, что ты бросишься в Неман, что побежала вслед за тобой! – признавалась Таня в перерывах между лобзаниями. – Ты ведь больше не страдаешь так по Кристине?

И я уверял ее, что не страдаю, что все забыто и что теперь у меня начинается новая жизнь...

О, как неистово цвели в это лето, как благоухали гродненские липы в старом парке Жильбера, над бережках овражистой речушки Юрисдики! Как будто они уже чуяли близкий запах пороховой гари и стремились заранее заглушить его.

Все новости, вся политика в эти дни проносились мимо меня, если что-то и доходило, то как сквозь вату. Теперь Татьяна занимала все мысли, все ощущения и чувства. Я понимал, что никто не позволит – ни ее родители, ни мои – повести ее сейчас к венцу. Эх, хотя бы еще один курс миновать! Но и тогда вряд ли получилось бы то, о чем я грезил. Я очень боялся потерять Таню, ведь ей ничего не стоило по примеру старшей сестры выскочить замуж за какого-нибудь гусара-усаца или состоятельного коммерсанта. Кто бы отказался иметь такую очаровательную жену? А мне еще надо было трубить и трубить в свой кларнет, прежде чем кем-то стать в этой жизни, прежде чем составить для Тани престижную партию. Вот о чем я думал днем и ночью, и эта навязчивая мысль – «не успеешь, не успеешь, не успеешь...» – отравляла мне все каникулы.

* * *

В последний день июля мы с Павлом отправились на байдарке по Неману. В два весла по быстрой воде унесло нас довольно далеко, так что пришлось заночевать на береговой опушке у костерка. Ах, какая заповедная глухомань открывалась среди августовской пуши! То лось с треском сучьев выйдет на ночной водопой, то кабаны прошуршат среди высокой травы. Ах, какие звездные ожерелья были разбросаны по ночному небу! Словно неведомые письма, скрывали созвездья нашу судьбу.

Домой мы вернулись к обеду. Но никакого обеда не было. Его никто не готовил. Я застал маму с заплаканными глазами. Оказывается, ночью была тревога, и полк отца ушел на войну. Да, на войну! Пока мы сплавлялись по Неману, началась война, о возможности которой столько писали газеты в последнее время. Все связалось в одну цепь: выстрел в эрцгерцога в Сараево, австрийский ультиматум Сербии, мобилизация русской армии, ночная тревога, полк отца... Только тут на меня нашло некоторое отрезвление и мысли приняли реальный оборот.

Мне вдруг стало очень страшно за отца. А вдруг его уже убили? Ведь прусская граница совсем недалеко, а его полк наверняка бросили именно туда...

– А что делать нам? – спросил я Павла. – Возвращаться в Питер? В консерваторию?

– А что нам там делать, когда началась война? – удивился тот. – Наше место в строю, а не в бурсе. Надо записаться в полк.

Я и сам весьма склонялся к этой мысли. Ничего не говоря маме, я отправился в соседнюю казарму, где стояла конная батарея, которой командовал старый отцовский приятель есаул Весёлкин. Батарея еще была в Гродно, но судя по всему, уже собиралась в поход. Нестор Григорьевич встретил нас невесело. Он внимательно выслушал нас с Павлом и погрузился. Меня он знал с раннего детства и относился ко мне не хуже родного дядьки. Мы просились к нему в батарею вольноопределяющимися. Но Весёлкин, видимо, не мог принять такое решение без согласования с отцом. Поэтому, как я потом понял, пошел на некое лукавство.

– «Вольноперы» хороши для мирного времени. А с началом боевых действий в «вольноперы» брать перестали. Мой вам совет: поступить на ускоренные курсы прапорщиков, а потом мы отзовем вас в наш полк, да хоть и в мою батарею. У меня старший брат служит в Тифлисском юнкерском училище. Я напишу ему письмо, и он примет вас, как надо. Запомните его имя – Андрей Григорьевич Весёлкин.

Мы переглянулись. Уезжать в глубокий тыл, в Тифлис, когда неподалеку вовсю уже идет война и наши армии успешно продвигаются вглубь Пруссии, совсем не хотелось. Пока будем учиться, и война закончится. И, разумеется, нашей победой. В этом никто из нас не сомневался. Мы призадумались. В конце концов можно проучиться пару месяцев, а потом уйти на фронт юнкерами-добровольцами. Главное, не возвращаться сейчас в Питер и продолжать занятия в консерватории, как будет настаивать, требовать сейчас мама. Это была блестящая военная хитрость: мы возвращаемся в Питер, а там пересаживаемся на поезд Петербург – Москва – Тифлис, и через трое суток прибываем в училище. Решено и скреплено казачьей клятвой на пашке дяди Нестора. Он, улыбаясь в усы, написал нам рекомендательное письмо брату, и Павел бережно упрятал его на груди.

Чтобы не волновать понапрасну маму, я сказал ей, что мы срочно возвращаемся в консерваторию, и она благословила нас с Павлом прабабушкинской особо почитаемой у нас в семье иконкой Донской Божией Матери. Знала бы она, на какой путь благословляет нас!

И только Тане, прощаясь с ней в ее палисаднике, я раскрыл нашу с Павлом военную тайну: едем в юнкерское училище, чтобы попасть на войну. Таня все поняла и тоже благословила меня, но не иконкой, а настоящим поцелуем в губы. Это была сладкая нежная малина, нагретая солнцем... То, о чем я мечтал весь год, свершилось! Но, увы, под занавес наших коротких каникул. Все тончайшие нюансы этого поцелуя я вспоминал под стук вагонных колес, лежа на верхней полке. Всего один ее поцелуй сделал меня самым счастливым человеком в мире! Право, какой непостижимой властью над нами обладают женщины!

* * *

В Питере мы зашли на Никольскую, на свою съемную квартиру, собрали вещи. В консерватории я обучался игре на кларнете и флейте. Кларнет у меня был свой собственный, и я упаковал его на дно своего баула. Пригодится и в училище, и на войне.

– Зря, – скептически заметил Павел. – Как увидят тебя с кларнетом, так и определят в трубачи. А мы все же казаки.

И он показал мне дедовский булатный кинжал, который передал ему, как старшему сыну, отец.

– Дед его у турков под Шипкой добыл, – с гордостью сказал он и бесшумно вложил в ножны, обшитые шкурой горного барса.

Перед отходом поезда мы успели забежать в консерваторию и оставить там прошение на временное прекращение учебы в связи с началом войны и поступлением в юнкерское училище. Все! Теперь мы были совершенно свободны от груза прежней жизни. Оставалось только помолиться на путь-дорогу в Знаменском храме на площади Николаевского вокзала, что мы и сделали с большим чувством.

И еще я нашел минутку, чтобы написать Тане большое и восторженное письмо, с объяснением в вечной любви и преданности до последней минуты военной жизни.

В письме же я послал ей и стихи нового романа:

Не надевай колец в дорогу,
Не надевай, не надевай...
Давай, ямщик, помалу трогай!
Не забывай, не забывай...

В Москве до отхода поезда в Тифлис мы успели побывать в мастерской моего кузена Никиты Проваторова, который уже успел снискать среди художников Белокаменной некое имя. Его студия находилась на верхнем этаже высокого здания в Звонарном переулке. Никита тоже собирался в армию и восторженно одобрил наше решение стать офицерами. Мы стали звать его с собой, в Тифлис. Но он хотел непременно на фронт, в Восточную Пруссию, и уговаривал нас отправиться туда втроем, записаться в какой-нибудь полк вольноопределяющимися.

В «какой-нибудь полк» нам не хотелось. Служить так служить, и не в пехоте, а в родных казачьих полках.

Глава третья. Солдат врага ждет, пластун врага ищет

Тифлис встретил нас лютой жарой, чудовищным пеклом, от которого мне сразу же захотелось обратно, в прохладу приеманских дубрав и сосняков. В душе сама собой зазвучала грустная прощальная мелодия полонеза Огинского, и я даже попытался сочинить к нему слова, чтобы потом, тешил я себя надеждой, сыграть его в четыре руки и спеть на два голоса, когда я вернусь к Тане:

Край, сосновый светлый край,
Среди холмов, среди лесов
Здесь юность давняя моя
Текла по руслам нежных снов...

Лязг железных клепаных ворот, к которым нас доставил грузин-извозчик, оборвал сочинение нового романа. Часовой-привратник долго не хотел пускать во двор училища и делал вид, что имя подполковника Андрея Григорьевича Весёлкина ему незнакомо. Тем не менее ему пришлось вызвать дежурного офицера, бравого поручика с анненской «клюквой» на темляке, и тот лично отвел нас в кабинет начальника строевой части. Подполковник Весёлкин изучил рекомендательное письмо, потом наши лица – весьма проницательным взглядом, потом важно изрек:

– Ну, что ж, молодые люди, весьма похвально, что в трудный для отечества час вы выбрали офицерскую стезю. У нас как раз формируются ускоренные курсы прапорщиков военного времени. Есть там и взвод пластунов. Там у нас природные казаки. Найдется и для вас место. Идите в канцелярию и оформляйтесь, как положено. Паспорта с собой?

– Так точно! – по-военному ответил Павел, и подполковник чему-то усмехнулся.

Через два часа мы с Пашей оглядывали друг друга в новеньких топорщащихся гимнастерках с юнкерскими погонами. Мы сразу же стали другими, непривычно взрослыми и серьезными.

К нам подошел наш фельдфебель – рослый портупей-юнкер из старшей роты:

– Ну, что, господа юнкера? Можете сходить в первую роту, там есть фотограф юнкер Зайцев, который увековечит вас для благодарного потомства.

Мы тут же отправились в первую роту, нашли юнкера Зайцева, и тот отвел нас в каморку, где стояла на деревянной треноге павильонная камера. Он снял каждого в отдельности, а потом по нашей просьбе и нас вместе. Я стоял перед деревянным полированным ящичком с мехами из черной кожи и смотрел в оптический глазок объектива. Зайцев снял колпачок и сделал им витиеватый жест, как будто приглашал войти в даль иного времени... Я это почувствовал до холодных мурашек на спине. С этого момента, с этого дня начиналась совсем новая, тревожно-восхитительная военная жизнь...

Ускоренные курсы прапорщиков военного времени были укомплектованы на все сто процентов. Основную массу нашей юнкерской роты составляли выпускники гимназий и бывшие студенты, решившие, как и мы, круто изменить свою судьбу. Были несколько семинаристов-педагогов, адвокат и даже один артист-наездник из цирковой труппы. По национальному составу рота также была очень пестрой: русские, малороссы, грузины, армяне, татары... Поскольку почти все были новички, никакого цуканья в роте не было. Все старались показать себя с самой лучшей стороны. Павла тут же назначили отделенным командиром, и наметанный глаз ротного ничуть в нем не ошибся. Мартынов был прирожденным командиром.

Нас, как казаков, определили в учебный взвод пластунов. Конечно, мы хотели в конный строй, но училище готовило офицеров пехоты. Но спустя неделю мы уже не сетовали на этот счет. Пластун может все, что и конный казак, но далеко не каждый всадник может быть пластуном. Во всех войнах пластуны были отменными разведчиками, рейдерами, следопытами, охотниками за «языками». «Волчьи пасти, лисьи хвосты» – так их называли в войсках. И, конечно же, ценили и уважали от души. Бывалые старики сами отбирали казаков в пластуны, оценивая и все стати – и силу ног, и ловкость рук, меткость глаза, отвагу и природную смекалку. Пластуны – бойцы-невидимки. Переправились на сторону врага и тут же растворились в тумане ли, в плавнях, в кустах... И следов никаких не оставят ни на пашне, ни на росистой траве...

Наш пластунский взвод возглавлял офицер-казак сотник Брагин. Ему помогал старший урядник Кузнецов, дед Кузя – личность с виду свирепая и угрюмая – с перерубленным когда-то носом, но на самом деле весьма расположенная к воспитанию юношества.

Лихой унтер переиначивал на свой лад все команды, и нам это нравилось. Так, вместо «На плечо!» урядник командовал: «От мати-сырой земли к богатырскому плечу – шарах!»

Именно от него познали мы первые азы воинского искусства пластунов, приемы метания кинжала, ухищрения маскировки, навыки походного быта. Он же готовил нас и к принятию присяги.

«Ты врага не бойся, – учил старый казак, – но остерегайся. Он тебя больше боится, чем ты его. Ты его видишь, а он тебя нет. В том твоя сила. На рожон не лезь, а бей, когда не ждет».

Занятия начались на две недели раньше, чем это было принято во всех остальных учебных заведениях. Мы снова раскрыли тетради, учебники, уставы, только на сей раз вписывали в свои конспекты не музыкальные термины, а суровые военные слова: баллистика, эллипс рассеивания, средняя точка попадания, дистанция прямого выстрела... Больше всего мне нравилось пулеметное дело и занятия по пластунской выучке. Мы научились ползать, как индейцы, – быстро и незаметно, юрко и осмотрительно, как ящерицы, как саламандры... Метали кинжал из любого положения и выбивали из ручного пулемета Шварцлозе первые три буквы своих фамилий.

Мы учились рьяно, поглощая военные науки не за страх, а за совесть. Ведь нам надо было пройти полугодовой курс за два месяца, как мы решили. И в глубине души мы надеялись на досрочное производство как особо преуспевающие в учебе. Мы не ходили в город по воскресеньям, мы не допускали ни малейших дисциплинарных нарушений, получали на субботних построениях благодарности от командира роты и начальника курсов. По результатам общеучилищных состязаний в стрельбе из винтовки Павел получил призовые часы, а я жетон «Меткий стрелок».

Приближался срок, который мы дали сами себе для изучения военного дела. Газеты сообщали безрадостные вести о поражении наших армий в Восточной Пруссии. Когда стало известно о том, что генерал Самсонов покончил с собой, не вынеся позора поражения, мы поняли, что час пробил. Его скорбный выстрел послужил для нас как бы сигналом – хватит отсиживаться в училище. Знаний и умений нам вполне хватит не только как рядовым бойцам, но и отделенным командирам, а может быть и взводным. Иной и за полгода не почерпнет столько, сколько при нашем энтузиазме приобрели мы. Как ни уговаривал нас ротный командир, а потом и начальник курсов, и подполковник Весёлкин, мы стояли на своем – хотим на фронт. Досрочно нас в офицеры не произвели, но отправили в войска вольноопределяющимися в унтер-офицерском чине. Мы ликовали! Мы готовились к отправке, но, увы, не на Западный фронт, а на российско-турецкую границу, которая в самом скором времени обещала превратиться в линию нового фронта.

За все это время в ответ на дюжину моих пространных писем я получил только одно коротенькое, но бесконечно милое и дорогое послание от Тани. Я знал его почти наизусть. Она писала, что Гродно стал прифронтовым городом, магазины оскудели, и что родители собира-

ются временно переехать в Петроград, как переименовали теперь Петербург. И как только они там устроятся, она сразу же сообщит новый адрес. А пока поступила на курсы сестер милосердия. Я даже Павлу прочитал это письмо раза три, оставляя лишь последние – самые дорогие для меня – три строчки: «Что бы ни случилось, я всегда буду помнить тебя, любить и ждать. Нежно целую, как в последний раз в нашем палисаднике. Береги себя не только для мамы!»

Получил письмо от отца с фронта. Он целиком одобрял мое решение и давал мне свое отцовское благословение. Его полк воевал где-то под Вильно.

На Николу зимнего мы прощались с Тифлисским военным училищем. Начали с любезного нам подполковника Рубахина. Он обнял нас и вручил по новенькой кожаной офицерской полевой сумке, планшетке для карт.

– Надеюсь, однажды достанете из этих сумок, ну, пусть не жезл маршала, но обер-офицерские погоны как минимум!

Ротный командир подарил нам по зажигалке, сделанной солдатами из роты обслуживания. А дед Кузя, как мы звали меж собой урядника, дал мне потертую серебряную серьгу.

– Носи ее в правом ухе. Сие будет означать, что ты единственный сын у матери. Я носил, и ты носи.

Мы обнялись с ним по-братски. Порывшись в карманах, я отдался золотым рублем, который захватил с собой из Питера на счастье. А потом извлек из баула кларнет, к удивлению многих и на радость старику проиграл мелодичный сигнал «Выезд конной батареи на позицию».

Павлу тоже полагалась серебряная серьга, только в левое ухо, как последнему в роду казаку. Но дед Кузя ничего о нем не знал, тогда как обо мне, точнее о моем отце, был наслышан от подполковника Рубахина.

Я написал очередное письмо Тане, предупредив ее, что, возможно, от меня долго не будет письма, так как мы отправляемся на войну в Турецкие горы. Вот и все! Причастились в училищном храме, и с Богом – на войну...

Глава четвертая. Комендант перевала

На войне судьба солдата ли, офицера решается в одночасье, порой в считанные мгновения; на то она и война...

Я пил чай в палатке со своим вахмистром Ерошиным, когда к нам влетел как ошпаренный ординарец Мурат. Я так и подумал – ошпарился самоваром – в руке он держал зачем-то самоварную трубу. Но Мурат спешил предупредить меня о появлении большого начальства:

– Там полковник идет до ваша благородия!

С перепугу Мурат даже заикался. Я тут же выскочил навстречу командиру полка. Попытался что-то доложить, но он, чем-то весьма расстроенный, только махнул мне рукой.

– Кто здесь старший?

– Так что я, хорунжий Проваторов, господин полковник!

– Хорошо. Где тут у вас присесть можно?

– Пожалуйте в палатку.

Мурат мгновенно смахнул с походного столика остатки чаепития, и полковник Радугин, тяжело дыша от зноя и бедного горного воздуха, разложил карту.

– Только что на моих глазах убили в седле хорошего офицера – сотника Никитина. С перевала стреляли, не промазали, сволочи! Хотел его комендантом Ташикурганского перевала назначить. Царствие небесное! Хорунжий, берите своих пластунов, берите конный взвод Никитина и следуйте на перевал Ташикурган. Организуйте его охрану и пропуск наших войск. Перевал в нашей ситуации имеет стратегическое значение. Выступайте сегодня же и не медля ни одного часа. Первая колонна наших войск должна пройти перевал через двое суток. За это время вам надлежит обезопасить горный проход от всяких злонамеренных случайностей. С вами пойдет проводник. К сожалению, у меня нет лишних карт, сделайте кальку с карты начальника походного штаба и обговорите с ним все детали. Задачу поняли?

– Так точно, господин полковник!

– Действуйте!

– Есть!

Это был мой звездный час на этой войне. Это было первое серьезное боевое задание, и я вознамерился выполнить его, чего бы мне это ни стоило. С начальником походного штаба войсковым старшиной Дудко мы быстро скопировали схему ущелья, горной дороги и перевала. Пометили источник пресной воды – родник, бивший в полуверсте от нашего будущего стана.

– Курдов остерегайся, – напутствовал меня Дудко. – Выставь пикеты по обе стороны перевала, да еще в ночное время патруль пусть обходит. Дадите слабину – вырежут всех.

Собирались наспех, выучили коней патронами, мешками с фуражом, рисом, чечевицей, горохом маш, сухарями.

Наш проводник халдей Юваш, малый неопределенного возраста, но немного говорящий по-русски и верующий в Христа, как несторианец, повел наш отряд, восседая на собственном муле. Там, на перевале, находилось его родное село Эски Каракермен, которое в прошлом году турки вырезали поголовно. Юваш уцелел потому, что находился в это время в долине. Представляю, как трудно ему теперь возвращаться на родное пепелище, где погибла его семья и все односельчане. В нас он, как и большинство здешних ассирийцев, видит защитников и потому готов помогать моему отряду истово и бескорыстно, лишь бы хоть как-то отомстить туркам.

Переход мы совершили за десять часов и взойшли на перевал около полуночи. Стояла полная луна, и вид заброшенного поселения был невыносимо гнетущим, тем более что неподалеку подвывали горные шакалы. Эски Каракермен – был когда-то древним пещерным городом. Скалы, обступавшие дорогу, были источены пещерами и ходами-переходами, как труп-

левая колода муравьями. По обе стороны узкой колеи, выбитой колесами арб в камне, зияли пустыми глазницами окна и двери пещерных каморок, приспособленных за много веков под убогие жилища. Некоторые из них шли вверх и вниз, как этажи, повсюду были прорублены ступени и проходы. Самое главное – в селении был колодец, и Юваш сразу же привел нас к нему. Пока поили измученных горным переходом коней, я с дюжиной казаков по-быстрому осмотрели пещер – нет ли где засад. По счастью, мы успели прийти сюда раньше, чем неприятельские лазутчики. Назначил пятерых пластунов во главе с младшим урядником в передовой пикет, и, как ни устал, прошел с ними на километр ниже перевала, посмотрел, как они залегли в камнях, условились о сигналах и времени смены. Такой же пикет поставил и в тылу, а остальным велел устраиваться на ночлег и обживаться. Все здесь дышало недавней бедой и тайной опасностью. В пещерных комнатухах еще стояла убогая мебель – колченогие столики, табуретки, сколоченные из досок кровати. Хрустели под ногами черепки битой посуды.

Я устроился на втором ярусе пещерного жилища и, завернувшись в бурку, мгновенно уснул. Проснулся утром от солнечного луча, бившего в глаза, и ароматного запаха рисовой каши, сдобренной свиной тушенкой. Мурат принес полный котелок и не знал, куда его поставить – то ли на пол, рядом со мной, то ли каменный подоконник выбитого окна. В другой руке у него было брезентовое ведро с водой для умывания.

– Самовар внизу поспел, – доложил денщик, радостно улыбаясь. Больше всего на военной службе ему нравилось ставить самовар. Делал он это с весьма важным видом – не подступись! Ни дать ни взять – машинист паровоза! Но самовар всегда поспевал быстро, и чай Мурат заваривал отменно.

Умывшись до пояса, прочитал утреннее правило перед походной иконкой Спасителя, которую всегда носил с собой в полевой сумке. Вахмистр, дождавшись окончания молитвы, доложил, что ночь прошла спокойно и ничего подозрительного на обоих пикетах не наблюдали. Я пригласил его к котелку, и за завтраком мы еще раз обсудили порядок несения службы.

– Сон плохой видел, ваше благородие, – сообщил Ерошин, обдувая горячий чай в кружке. – Быдто конь мой ногу сломал на энтих камнях. Не к добру. Надо бы по верхам казаков пустить. Пуцай проверят, не затаился ли кто? Коли тут селение было, так к нему разные тропы вести могут.

– Дело говоришь. Так и сделаем. Я сам с казаками пройдуся.

Взяв троих пластунов, я поднялся с ними по вырубленным ступеням на самый верх пещерной деревни. Через каменный ход мы вышли на небольшое плато, с которого открывался хороший вид и на серпантин, уходивший с перевала на запад, и на окрестные горы, а главное, на подножие нашей пещерной деревушки. Пара стрелков, засевших здесь, могла бы перестрелять всех, кто сунулся на дорогу. Я решил поставить пикет непременно и здесь.

Юваш не смог оставаться с нами и, сделав свое дело, показав колодцы и тропы, ушел в долину. Я его понимал – тяжело жить там, где отцвела твоя жизнь, где каждый камень полит кровью твоей родни. Дал ему в благодарность три пачки патронов да три банки тушенки. Да обнял на прощанье – а что я мог еще для него сделать?

В тот день мне исполнилось 20 лет. Право, в пылу походных хлопот я случайно вспомнил об этом событии, однако же вспомнил и тихо возгордился: и двух лет не прошло, а я уже хорунжий и комендант перевала, и орден Св. Станислава... Эх, видела бы меня сейчас Таня! Увел бы ее под венец, и никто бы слова не сказал!

День рождения отмечать не стал, отметишь – и срок свой наметишь: убьют в первой же перестрелке... Так бывалые казаки гутарили.

В центре плато, скажем скромнее, площадки размером с крокетное поле, стояла руина небольшого, размером с часовню, несторианской церкви. Храм был разрушен тогда же, когда разграбили и вырезали деревню.

Остался только большой каменный крест, испещренный непонятными письменами. Наклонив голову к плечу, я попытался хоть что-нибудь прочесть, как в этот момент фуражка моя слетела с головы, сбита пулей. Я даже не успел подумать, что было бы, если бы я не наклонил головы. Ох не зря приснился вахмистру покалеченный конь! А мне-то что снилось?! Я лежал за каменным крестом, как за крестом, и пластуны мои вжались в нагретый камень плато. Стреляли явно с той стороны, куда мы только что смотрели. И просмотрели... Пластуны мои припали к винтовкам да пальнули почти залпом в опасную сторону, пальнули скорее для остротки, чем по делу. Но выстрелов из хаоса камней с той стороны ущелья больше не раздалось. Мы спустились в деревню, и я тут же кликнул охотников идти на облаву. Вызвались все, так что пришлось отобрать самому. Отрядил десять бойцов и повел их на ту сторону ущелья, откуда стреляли. Шли осторожно, хоронясь за глыбы и валуны, держа оружие на взводе. Однако противник не пожелал вступать в открытый бой и тихо ретировался. Пришлось и здесь выставить еще один – уже четвертый – пикет.

Так прошли еще одни сутки, пока наконец не подошла долгожданная колонна. Пехотный батальон с горными пушками и выучными пулеметами шел на усиление наших войск под Карсом. Я представился командиру батальона – капитану с раздвоенной бородкой и круто закрученными усами. Он весело козырнул мне и поблагодарил за службу. Желая сделать приятное, спросил:

- Откуда родом, хорунжий? С какой станицы?
- Отец из Зотовской станицы, а я родом из Гродно.
- Почти земляки! – обрадовался капитан. – Я из виленского училища выпускался.

Курите? Угощайтесь!

Командир батальона раскрыл дорогой портсигар, и я никогда не курил, но ради вежливости взял папиросу.

Я проводил колонну до передового пикета и распрощался с почти земляком:

- Да хранит Божья Матерь!
- Спаси Господи! – осенил себя мелким крестом капитан. – Бывайте, хорунжий! Может, свидемся...

Как быстро сходятся на войне люди! Как быстро находят общий язык! Может быть, потому, что особенно остро сознают свою брэнность... Как много условностей отбрасывается здесь, как шелуха...

На обратном пути – я шел один, что было весьма неосмотрительно, – я вдруг заметил, как в камнях на нашей стороне мелькнуло нечто вроде черной папахи. Тут же выхватил наган и взвел курок. Я шел, ожидая выстрела с правой стороны, и от этого ожидания вся правая половина тела занялась внутренним огнем. На всякий случай я дважды выстрелил туда, где привиделась папаха. Пусть знает вражина, что замечен, и не таится. Ответных выстрелов не последовало. А если он не один? А если другой готовит аркан, чтобы захлестнуть меня за шею? Не дай бог в плен уволочут – это считай сразу великомученический венец принял: изрежут, испоганят и убьют лишь вволю натешившись. Тут только бы успеть пулю в лоб пустить... От этих мыслей и вовсе стало жутко. Я спрятался за камнем, похожим на обломок огромного меча. По крайней мере, сверху никто не прыгнет, а справа-слева успею выстрелить. Не знаю, сколько я простоял в своем убежище, но на мое счастье, сверху шли пластуны менять пикетчиков, и я с радостью вышел к ним навстречу.

Вполне благополучно добрался до нашей стоянки. Мурат уже вздул самовар. Но едва я наполнил кружку хорошо заваренным душистым хоросанским чаем, как в мою пещерную келью ввалился вахмистр мрачнее тучи.

- Ваше благородие, на тыловом пикете Савченко убили, – сообщил он и перекрестился.
- Как убили?! – подскочил я, едва не выплеснув чай из кружки.

– Каката подлюка из камней стрельнула...

Так, значит, мне не померещилась черная папаха! Не встал бы я за скалу, принял смертную пулю я. Не иначе ангел-хранитель уберег... Я поднялся из-за стола и сотворил знамение перед образом Спасителя.

Я поднял всех незанятых службой в ружье и прочесал все окрестные скалы на версту в округе, но, увы, лазутчика и след простыл.

Приказного Савченко похоронили наверху возле расколотого каменного креста. Я прочитал все погребальные молитвы, и мы опустили убиенного в неглубокую могилу. Эх, и где только не упокоены казачьи косточки, по каким палестинам, пустыням, чужбинам не разбросаны! Вот и приказный Савченко будет нести свою загробную службу в горной турецкой глухомани.

Вторая войсковая колонна прошла ночью... И прошла благополучно.

В середине августа казак-письмоносец доставил нам почту. Я лихорадочно рылся в письмах, ища заветный конверт от Тани, но, увы... Зато пришло письмо от отца. Его полк стоял под Псковом на отдыхе. Отец писал, что мама осталась в Гродно, занятом немцами без всякой нашей с ним мужской поддержки, и он очень сильно о ней беспокоится. Его беспокойство, конечно же, передалось и мне: мама! Как она там одна под владычеством тевтонов?! Почему не уехала, когда это было еще возможно?! Что же мы с отцом за воины, если родной дом отстоять не смогли?! Горько было сознавать это...

Больше месяца охраняли мы перевал Эски Ташкермен. За это время пропустили восемь колонн наших войск, пять обозов, несчетное количество всяких посыльных и фельдкурьеров. Курды, вооруженные винтовками с немецкой оптикой, крутились возле перевала. У нас не было возможности провести обширную облаву. Выстрелы с окрестных вершин, из скальных расщелин, из нагромождения камней гремели едва ли не каждый день.

Потеряли одного казака, двое пластунов получили ранения, по счастью легкие.

Стреляли они и по нашим коням, причем не из винтовок, а из допотопных штуцеров времен крымской войны. Калибр штуцерной пули раза в два больше винтовочной, да и вес такой, что укладывал коня наповал либо наносил тяжкое увечье. Одна из таких пуль угодила мне в плечо за три дня до окончания нашей охранной службы. Удар был такой силы, что меня отбросило на две сажени, швырнуло навзничь. Я ударился затылком о камни и враз потерял сознание. Из провального черного забвения выкарабкался уже в своей пещерной келье, куда меня перенесли мои казаки и уложили на койку. Они же, как могли, и перевязали.левой руки я не чувствовал вообще, вместо нее пульсировала в плече адская боль. Мне было страшно скосить глаза на окровавленный узел намотанных тряпок. Первая мысль – теперь я никогда не смогу быть музыкантом – рука явно искалечена. Разве что на губной гармошке играть, деньги на улицах собирать... Вторая мысль была еще более горшей: пока меня отсюда вывезут, начнется воспаление крови, гангрена, смерть...

Денщик Мурат, словно догадываясь о печальном ходе моих мыслей, делал все, чтобы отвлечь и развлечь меня:

– Ты, вашбродь, с арканом родился! Пуля насквозь вышел. Вот он!

И Мурат показал мне свинцовый окатыш размером с добрый желудь. Это была английская штуцерная пуля. Если Господь не приберет, буду носить ее потом на золотой цепочке. Мурат поднес к моим губам кружку с густым травяным настоем.

– Пей, вашбродь, пей! Кишку размачивай... Рана заживляй...

Я отпил несколько глотков и снова впал в забытие. Дальше сознание возвращалось ко мне только отрывками, как будто меня отпускали с того света на этот – на короткие побывки.

...Лошадиная милая морда качается у меня почему-то в головах. И сам я качаюсь на каком-то шатком перекошенном ложе... И если скосить глаза вниз, то там качается круп другого коня. А над головой ночное небо, залитое полной луной... Где я? Куда я? Медленно сообщаю, что я на конных носилках, жерди которых перекинуты с одного коня на другого. И что кони идут под уклон – на спуск. Значит, меня везут с перевала вниз, в долину. Но почему так жарко ночью? Ночью в горах холодно... А, это меня трясет лихорадка. Нащупываю правой рукой левую руку. Вот она, пока на месте. Пока не оттяпали. Но как же больно она ноет... Головной конь оступись, носилки резко дернулись, и я опять уплыл на тот свет...

...Свет... Яркий, резко бьющий в глаза... Вокруг чьи-то незнакомые лица... И все вокруг ослепительно бело...

– Будем ампутировать?

– Сколько ему?

– Двадцать...

– Ох, Александр Уварович, что ж, мы с вами так и будем плодить калек?

– Вы хотите плодить покойников?

– У хорунжего есть шанс выжить. Молодой и очень крепкий организм.

– Вы берете на себя риск его выживания?

Я не услышал ответа – провалился во тьму...

Глава пятая. На кисловодских водах

...Солнце! Бьет в глаза. Или это какой-то другой свет? Первая мысль о подслушанном разговоре. Ищу левую руку: так и есть – оттяпали! И уже протез пристроили – жесткий, шершавый, чужой... А почему в его конце мягкие пальцы? Да это же мои пальцы! И не протез это вовсе, а рука в гипсе. Это я гипс ощупывал, а рука-то вот она – на месте! Я готов был вскочить от радости и заплясать, но не было сил...

– О, смотрите, ожил наш хорунжий! – услышал я с соседней койки.

– Да не хорунжий уже, а сотник, – поправил соседа чей-то знакомый голос.

– Пока не проставится, будет в хорунжих ходить, – заметил сосед.

– Эй, господин сотник, залежались вы, любезный! – окликнул меня знакомый голос, и я сразу же узнал его: Таратута! Адьютант командира полка, балагур и сердцеед, как и все адъютанты, но человек порядочный и в полку уважаемый. Таратута прославился под Сарыкамышем. Будучи командиром сотни, он захватил турецкую батарею с лету конной атаки. Турецкие артиллеристы не успели дать картечный залп – все решили секунды. Таратута первым ворвался на позицию и стал сечь шашкой налево-направо. Прислуга частью разбежалась, частью сдалась. Но опоздай он на две-три секунды – и лаву накрыл бы картечный залп в упор. Тогда амба: изрешетило бы и людей, и коней. Но Фортуна улыбнулась дерзкому сотнику.

– Не пора ли к делам возвращаться! – настаивал Таратута с накрученным на голову марлевым тюрбаном. – У вас тут и «клюква» поспела, пока в «нетях» пребывать изволили!

Я не сразу понял, о какой клюкве он говорит. Потом дошло: орден Св. Анны 4-й степени. Его называли «клювкой» за красный темляк на шашке. Но при чем тут я?

Он взглянул на мое ошарашенное лицо и остался доволен произведенным эффектом.

– «Анну» вам за охрану перевала дали, за боевое ранение. А чин сам собой подоспел. Так что вы, господин хороший, дважды именинник, и народ жаждет ликования!

– Жаждем, жаждем! – подтвердил народ, но только тот, который мог поднимать голову от подушек. Остальные двое раненых лежали в беспамятстве. Всего в палате стояло шесть коек – и все были заполнены.

– А мы сейчас где? – спросил я, озираясь по сторонам. Мне едва хватило сил сесть.

– Хороший вопрос! – обрадовался Таратута. – Господа, как вы думаете, где мы сейчас?

– В Константинополе, – предположил один.

– В Севастополе! – сладко возмечтал другой.

– В Тифлисе! – провозгласил третий.

– Ну, знаете ли! – развел руками адъютант. – В Кисловодске тоже неплохо! Итак, господин новоиспеченный сотник, докладываю диспозицию: мы в Кисловодске. На госпитальном излечении. И чем раньше вы отправитесь с нами за нарзаном, тем лучше будет для вашего организма.

Я с трудом понимал, о чем мне говорят... У меня было такое чувство, что я родился заново и не могу понять самых обыденных вещей. Но все же кое-что улеглось в моей гудящей, должно быть от хлороформа, голове: меня наградили и повысили в чине. Это во-первых... Во-вторых, я попал вместе с раненым Таратутой в Кисловодск. И мы здесь одни из нашего полка, и надо держаться вместе. Ах, какое солнце било из оконного проема! Как звало оно к жизни, другой, заоконной, где все ходят по улицам с целыми – не перебитыми – ногами и руками, не продырявленными головами и грудными клетками. Там – в том солнечном и зеленом мире – не было войны. Там был мир. И туда тянуло со страшной силой!

А здесь, в тени тополей, затаилась обитель страданий, чистилище, через которое мы должны были пройти, прежде чем нам разрешат снова войти в этот прекрасный мир живых и здоровых людей. И пока надо было вкушать премерзкую больничную гречневую кашу с силь-

ным привкусом хлорки. И каждую ночь надо было слушать мат и молитвы, стоны и хрипы, крики и вой, бредовые речи и рыданье, невнятное бормотанье сквозь закушенный угол одеяла...

Справа лежал полковой священник-старик, тощий, как индийский йог. Справа – прапорщик-артиллерист, обреченный на ампутацию обеих ног. Он отчаянно флиртовал со всеми сестрами милосердия.

В головах стонал богатырского роста есаул, разложенный на дощатом щите. Кровать ему была коротка, и ноги пролезали сквозь прутья спинки. Очередной приступ боли можно было определить по яростному шевелению пальцев ног, белых от гипса, как у мельника от муки. Он читал Евангелие, держа его на весу перед собой.

Палата, как аквариум, куда все время впускают новых «рыбок». И новая «рыбка» либо ошарашенно молчит, либо отчаянно мечется, если у нее есть силы вставать на ноги...

Старые палаты... Сколько больных и раненых прошло через них? За века здесь narosли сталактиты окаменевшей боли...

Но наступил день, когда меня перевели в иные стены – в палату выздоравливающих.

По иронии судьбы, вовсе не злой, а очень даже милой, палата для выздоравливающих располагалась во флигеле большого дома, принадлежавшего видному музыканту России Василию Ивановичу Сафонову. Благодаря его стараниям в Кисловодске было построено великолепное здание местной филармонии, едва ли не лучшей на всем Кавказе. Иногда в распахнутые окна палаты доносилась фортепианная музыка – кто-то играл в большом доме. Не сам ли маэстро?

Здоровье мое быстро шло на поправку. Способствовали ли тому усиленное питание, целебная вода нарзан, горный воздух или нерастраченный запас молодых сил вкупе с радостью от получения нового чина и ордена – а скорее всего все вместе взятое, – но только через пять дней после выхода из беспамятства меня перевели в роту выздоравливающих. Рота располагалась напротив госпиталя в казарме, покинутой своим батальоном, ушедшим на фронт. Более сотни ходячих раненых – офицеров самых разных родов войск – жили по общеармейскому распорядку: подъем, умывание, молитва, построение, перекличка, завтрак... Собственно на этом военный уклад и кончался. Далее народ расходился по процедурным кабинетам, обед и выход в город до вечерней поверки. В город мы обычно выходили втроем: подъесаул Таратута, я и поручик-артиллерист Рожков, раненный в правую руку. У меня на перевязи была левая, у него правая, так что в паре с ним, как шутил Таратута, мы могли крепко обнять только одну женщину. Правда, обнимать было некого: все приличные дамы пребывали на курорте с кавалерами, а с неприличными женщинами общаться не хотелось.

Первым делом мы шли в курзал – нарзанный павильон, выстроенный в старом шотландском духе. Там пили из бюветов волшебную горную воду, бьющую из недр земли, обретали, как нам казалось, бодрость и силу, и уже после этого продолжали променады по главной пешеходной улице, ведущей к величественному зданию филармонии. Как я ни уговаривал своих друзей побывать там на одном из концертов, Таратута и Рожков предпочитали проводить свободное время подобно лермонтовскому герою поручику Печорину, заводя курортные флирты с местными княжнами Мэри или горянками вроде черкешенки Бэлы. Впрочем, и я был не прочь пройтись с иной красоткой по главному променаду. Писем от Татьяны не было целый год, и мне казалось, что я потерял ее безвозвратно. И вот, когда я признался себе в этой малодушной мысли, силы небесные преподнесли мне впечатляющий урок!

Я все-таки выбрался в филармонию на концерт заезжего петербургского пианиста. Он играл Шуберта и Шопена. И тут в фойе увидел – глазам не поверил – Таню! В белой кружевной шемизетке она чинно фланировала вместе с родителями по паркету в ожидании приглашения

в зал. Я подошел к ним и молча поклонился. Таня радостно вспыхнула, Василий Климентьевич ответил мне чинным полупоклоном.

– Очень рад видеть вас, дорогой!

Все было настолько церемонно, что моя прежняя двухлетняя фронтовая жизнь показалось горячечным бредом. Право, как будто снова вернулись мирные времена... Мы с Таней не стали возвращаться в зал, родители деликатно оставили нас вдвоем.

– Идем погуляем! – предложила Таня. Мы вышли на привокзальную улицу, и оба беспрестанно рассказывали друг другу все, что случилось с нами за эти годы, прекрасно понимая, что это только подходы к самому главному. О самом главном я заговорил, когда мы подошли к памятнику Лермонтову. Присутствие бронзового поэта придало мне храбрости – все-таки наш, кавказский офицер!

Я взял Таню не под руку, а за руку, с дрожью ощутив ее холодные тонкие пальцы.

– Я не знаю никого лучше тебя, – начал я хриплым от волнения голосом; право, уж лучше подниматься в атаку под пулеметами! – И знать не хочу... Я все время думаю о тебе, и мысленно ты всегда рядом со мной...

Таня опустила голову, улыбаясь уголками губ. Она, конечно же, знала наперед, что я ей скажу дальше, и я почувствовал, что она не скажет мне «нет».

– И я бы очень хотел, чтобы ты была рядом со мной не мысленно, а вот как сейчас – рядом и всегда. Навсегда!..

Набрав в грудь побольше воздуха и еще раз взглянув на Лермонтова, я решился:

– Я прошу тебя стать моей женой...

Таня вскинула голову, ничего не сказала – озорно улыбнулась и крепко стиснула мою ладонь. Я произнес ритуальную фразу и ждал ритуального же ответа. Помедлив немного, она сказала то, что я сейчас жаждал услышать всеми фибрами души:

– Я согласна...

И без того яркое кисловодское солнце полыхнуло яростной вспышкой! Надо было бы немедленно поцеловаться, чтобы скрепить поцелуем наш конкордат, но вокруг было слишком много людей. Я поблагодарил Лермонтова взглядом – «Спасибо, поручик!», и мы, крепко взявшись за руки, пошли по людному и пестрому курортному променаду. Меня не оставляло чувство, что судьба сберегла меня именно для этой прогулки, для этого счастья... Что будет дальше, уже не важно. Главное, она сказала – «да».

– Как жаль, что мы завтра уезжаем! – вздохнула Таня.

– После излечения у меня будет отпуск, и я к вам обязательно приеду и официально попрошу твоей руки у папы.

– Официально – это как?! – засмеялась Таня. – Встанешь на одно колено и скажешь: «Милостивый государь, я прошу руки Вашей дочери!»?

– Ну, на колено не обязательно. Встану по стойке «смирно» и скажу: «Дорогой Василий Климентьевич! Отныне я хотел бы повсюду сопровождать Вашу дочь и заботиться о ней, охранять ее...

– Охранять?! От кого охранять?!

– От немцев, турок и всяких разбойников.

Мы вошли в тень кипарисовой аллеи, вокруг никого не было, и мы смогли наконец поцеловаться. Поцелуй вышел долгим, жарким, малиново-сладким... Закружилась голова. Я вытащил из черной косынки загипсованную руку и прижал Таню к себе поплотнее, так, чтобы ощутить жар ее юной груди. И она подалась мне навстречу и осторожно обвила руками мою шею, но фуражка все равно свалилась и покатилась в кусты... Эх, и грудь в крестах, а в кустах – вовсе не голова, а пока еще фуражка...

* * *

Утром я провожал семейство Ухналевых на вокзале – при шашке и орденах.

– Какой вы счастливый, – говорила Любовь Евгеньевна, будущая моя теща, – вы остаетесь в этом раю.

– Увы, ненадолго, – отвечал я. – Через неделю выписки.

– И как рука? – поинтересовался мой будущий тесть. – Все срослось?

– Самым наилучшим образом! – бодро заверил его я. – Через месяц снова в строй.

– Ну, орел! Ну, молодец! – восхищался... – Да хранит тебя Господь и Донская Божия Матерь!

Звонко ударил вокзальный колокол, большой зеленый паровоз окутался белым паром, лязгнули буфера, троегласно рывкнул локомотив... Таня успела поцеловать меня в щеку, в краешек губ, и вспорхнула по ступенькам в тамбур. Я шел рядом с вагоном, набиравшем скорость, махал рукой окну, в котором улыбались мне три почти родных уже лица, а под конец – взял под козырек.

Вечером я объявил своим друзьям:

– Господа, можете поздравить меня – я женюсь!

Сообщение произвело эффект разорвавшейся гранаты.

– Сотник, помилуйте, ужель это правда?! – вскричал Таратута. – Ужель вы покидаете ряды доблестных волокит?!

– Як Бога кохам! – ответил я по-польски.

– И кто же она, эта счастливейшая из дев?

– Вы не знаете. Это моя старая добрая подруга.

– Позвольте уточнить, насколько же она стара?

– О, ей скоро стукнет двадцать лет.

– Право, старуха... Однако же наверное чертовски мила? А я думал, вас на курорте окрутили... Ах, эти пластуны! Вечно они тихой сапой...

– Господа, требуем мальчишник! Пусть проставится.

– Хорошее дело! Пусть откупится от братства лихих холостяков!

И я, конечно же, откупился. Пили «Прасковейский» коньяк в «Старом Баку» – от души и через край.

– Господа! – витийствовал Таратута. – Призываю вас побыстрее закончить войну, дабы сотник Проваторов получил шанс побыстрее жениться!

Через пять дней с левой руки сняли гипс. Армейские эскулапы осмотрели мое предплечье. Полный врач в серебряном пенсне и серебристой щеточкой усов, при серебристых погонах статского советника, серьезный как профессор, весьма несерьезно хлопнул меня по левому плечу и довольно хмыкнул:

– Молодец казак! Атаманом будешь!

Потом добавил:

– Руку пока не перегружай и разрабатывай ее каждое утро и каждый вечер.

Он показал, какие упражнения надо делать, потом подозвал младшего ординатора:

– Павел Петрович, выпиши ему отпуск на десять суток на долечивание.

У меня вытянулось лицо: десять суток?! Всего-то?! Я ожидал как минимум две недели.

– Господин статский советник, я жениться еду, нельзя ли чуток прибавить?

Доктор широким жестом снял пенсне и посмотрел на меня невооруженным глазом.

– А сколько вам годков, господин сотник?

– Двадцать второй пошел.

– Не рано ли семьей обзаводиться?
– У нас, у казаков, в самый раз.
– Ну, коли у вас у казаков... Петрович, накинь ему еще пять дён, то бишь суток в качестве свадебного подарка.
С тем я и отправился из Кисловодска в Петроград.

* * *

Поезд тащился по железнодорожным извивам великой империи почти трое суток и к началу ноября добрался наконец в столицу, исхлестанную осенними дождями. У меня не было башлыка, и мне пришлось прикупить весьма необходимую тут деталь одежды в лавке офицерского экономического общества. Так что в Ораниенбаум я прибыл при полной справе. Выйдя из вагончика пригородного паровичка, я тут же, на вокзальной площади, нанял извозчика и уже через полтора часа въезжал в Большую Ижору.

Семейство Ухналевых квартировало в старых лоцманских домиках, стоявших на южном берегу Финского залива едва ли не с петровских времен. Я без труда разыскал нужный номер, дернул веревочку колокольца. И, о чудо! – выбежала Таня в накинутом дождевике. Не больно-то смущаясь чужих окон, мы припали друг к другу.

– Боже, какой ты мокрый! – оторвалась она от моей волглой шинели. – Идем скорее домой! Как твоя рука?

– Как видишь, точнее – как чувствуешь. – И я приобнял ее обеими руками покрепче и даже приподнял ее.

В тесноватой прихожей нас встречали Танины родители. Я, не снимая шинели, взяв фуражку в левую руку, как на молитве, прямо с места пустил в карьер:

– Дорогой Василий Климентьевич! Я прошу руки вашей дочери!

Родители Тани молча склонили головы. По всей вероятности, они были готовы к такому повороту событий.

– Ну, сделай милость, разденься сначала! – сказал Василий Климентьевич. – И идем, потолкуем.

Мы уединились с ним в небольшой комнатке, служившей, видимо, и гостиной, и кабинетом. Великолепный вид открывался из невысокого окошка на близкий Кронштадт, на дежурный крейсер, маячивший на горизонте. Но мне было не до крейсера и не до морских красот.

– Видишь ли, Николай... Позволь мне так тебя называть. – Мой будущий тесть сплел свои пальцы в замысловатый узор. – Твое предложение, безусловно, делает нам честь. Я хорошо знаю твоего отца и всю вашу семью... Но ты сейчас произнес очень важные и очень весомые слова... Верю, они не случайны, они искренни, от души и от сердца. Но отдаешь ли ты себе отчет – куда ты поведешь молодую жену, на что вы будете жить?

Василий Климентьевич говорил привычным менторским тоном, как говорят все закоренелые педагоги. Я уловил в его голосе нотки сомнения и тут же стал горячо излагать ему свои взгляды на жизнь.

– Кончится война, и мы вернемся в Гродно! У нас большая квартира, и на первых порах нам с Таней вполне хватит двух комнат, которые нам отведут... А потом я построю свой дом – отец поможет.

– А жить? Жить на что вы будете? Ведь ты же не закончил консерваторию, тебе еще учиться и учиться!

– Я сдам экзамен за юнкерское училище и буду служить.

– То есть пойдешь по отцовской стезе? Похвально. Очень похвально.

– Потом я поступлю в военную академию...

– То есть с музыкой покончено?

– Нет, музыка останется для души, для себя... Буду писать музыкальные вещи, но это в свободное от службы время.

Василий Климентьевич смотрел на меня с улыбкой, как смотрят на детей, взявшихся рассуждать как взрослые. Это меня разозлило: в конце концов я не мальчишка и не оболтус-студизус, я боевой офицер! Он заметил перемены в моем лице и пошел на попятную.

– Ну, годи, годи! Пойдем чай пить!

Нас ждал большой семейный самовар в кухне-столовой. Любовь Евгеньевна и Таня хлопотали с чашками, раскладывали вишневое варенье по розеткам. Весь вечер мы с Таней слушали поучительные истории из жизни учителей-молодоженов. На ночь мне постелили в кабинете-гостиной. Вспышки близкого маяка падали мне на подушку. Я не мог уснуть. Что-то настораживало меня в интонациях Василия Климентьевича. Ну, да бог с ним! Осторожничают старик, ему так по чину положено. Главное – Таня! А глаза у нее сияют. Эх, пробралась бы она сейчас ко мне в глухую полночь... Как бы я ее обнял!

Глава шестая. Кто в Сморгони не бывал, тот войны не видал

Я прожил у Ухналевых пять дней, а потом уехал к отцу на Западный фронт. Соскучился по нему, письма от него приходили крайне редко. К тому же надо было сообщить ему о моем выборе, о грядущей женитьбе. Почти не сомневался, что отец благословит меня.

Его полк стоял на отдыхе в Новогрудке. Отец оставался за тяжело раненного командира и размещался в большой штабной палатке.

– Кому и как о вас доложить? – остановил меня адъютант-подъесаул.

– Доложите войсковому старшине Проваторову, что с Кавказского фронта прибыл сотник Проваторов.

Адъютант понимающе улыбнулся и тут же скрылся за пологом. Через секунду оттуда выбрался батя в накинута бурке и сгреб меня в охапку, так что заныло леченое плечо.

– Вот не ожидал! Вот удружил! Вот подарочек-то! Вот праздничек-то! – приговаривал он, распахивая полог. Я вошел в жарко и дымно натопленную палатку. За столом сидели чины походного штаба и сотенные командиры.

– Господа офицеры, господа казаки, прошу любить и жаловать – сотник Проваторов-младший! – с гордостью объявил отец. – Прибыл на побывку по случаю ранения.

– Любо!

Офицеры радостно зашумели, я едва успевал пожимать протянутые ладони. Тут же, словно сигнальная ракета, хлопнула пробка, выбитая умелой рукой из бутылки.

– Оставайся у нас, сынище! – улыбался отец. – Дам тебе сотню.

– Но у меня же свой полк, батя. И меня там ждут... Ты же знаешь, что это такое...

– Знаю, конечно знаю... Ты прав. Возвращайся к себе. Нет уж святее войскового товарищества. Кто так сказал?

– Гоголь.

– Никак нет. Тарас Бульба.

Кто-то, изрядно принявший, завел нетвердым голосом:

Под ракитою зеленой
Русский голову склонил.
Ох, не сам ее склонил,
А герман саблею срубил...

– Отставить! Отставить! – зашумел есаул. – Играй нашенскую!

– Каку-таку нашенскую?!

– Да «Кукушечку»!

Тут уж я первым завел более чем знакомую песню.

* * *

В одну ненастную ночь полк был поднят по тревоге и выступил на позиции. Этот недолгий путь проделал и я вместе с отцом.

Здесь была совсем иная война, чем у нас на Кавказе. Не то чтобы я не слышал артиллерийской канонады. Слышал. Вот только под артогонь ни разу не попадал. Ну, разве что под Сарыкамышем. Но тот огонь по плотности своей ни в какое сравнение не шел с той немецкой пальбой, которая разразилась под Сморгонью в эту ночь. Орудия разной мощности крыли

наши позиции яростным огнем так, что казалось, все живое здесь будет разнесено в клочья. Мне впервые стало по-настоящему страшно на войне. Вот уж точно: не лезь поперед батьки в пекло. И воевать в этом пекле выпало не мне, а отцу. Где он сейчас? Цел ли? Жив ли?

Я натянул сапоги, фуражку, подпоясался и с тихим ужасом выбрался из землянки в траншейный ход. Мне хотелось поскорее найти отца и вытащить его из этого ада, спрятать его в ближайшем укрытии. Но где его искать? Скорее всего, на командном пункте.

Должно быть, у меня были сильно вытаращены глаза, потому как первый же солдатик, у которого я спросил, как найти КП, не смог скрыть улыбки. Да еще как назло гроыхнуло совсем рядом, нас густо осыпало землей бруствера. Я присел, а он, привычный к обстрелам, даже ухом не повел.

– А вон за тем поворотом, ваше благородие, ход будет. По нему прямо и дуйте.

Я взял себя в руки: не пристало боевому офицеру перед германскими «чемоданами» приседать. Но едва я дошел до поворота траншеи, как рвануло опять где-то рядом и на меня обрушился тяжелый землепад; на несколько минут я совершенно оглох; с трудом выбрался из завала и, не чуя под собой ног, бросился по узкому проходу. Шагов через двадцать я уткнулся в грубо сколоченный щит, прикрывавший лаз в командно-наблюдательный пункт.

Отец разглядывал в бинокль немецкие позиции.

– Здорово ночевал, казак? – заметив меня, спросил он.

– Слава богу.

– Не спится? – Отец оторвался от бинокля и насмешливо посмотрел на меня: – Чего-то немец с утра расшумелся. Не иначе кава по вкусу не пришлась...

– Ой, не ко времени расшумелся, – отвечал отцу пожилой есаул, начальник штаба; он сидел на ящике в углу блиндажа и после каждого взрыва, сотрясавшего бревенчатый потолок, осеял себя мелкими крестиками. – Никак в атаку хочет пойтить.

– Не пойдет он сегодня в атаку, – отзывался отец. – Так, для острастки кидает. У нас, слава богу, направление для него не самое главное.

– Вот на не самом главном-то и прорвет, а потом на главное выйдет, – стоял на своем начштаба.

– Уж куда он выйдет отсюда, так это в наши болота, – возражал отец. – Нет ему тут никакого резона на рожон лезть... На-ка, сын, глянь на супостата.

Я взял «цейс» с нагретыми от долго смотрения наглазниками. В оптическом окружье поплыли сквозь плотные стальной «колючки» ровные брустверы немецких траншей. Выше их и дальше их тянулись зубчатки елового леса. Кое-где брустверы были прорезаны бронешитами, из которых торчали рыльца пулеметов. Никакого шевеления в траншеях, предвещавшего атаку, я не заметил. Не хотелось думать, что и казаков могут бросить на эту пулеметную твердыню как обычную пехотную цепь. Да и пехоту, свою, родную, тоже было жалко губить в убийственной лобовой атаке. Помнят ли там, в штабах, что здешние позиции казаки заняли временно, и только потому, что державший здесь оборону пехотный полк почти весь полег в бессмысленном броске на немецкие позиции, да еще не подкрепленном артподдержкой? А что, если не помнят, или им все равно, что казаки, что стрелки, возьмут да и погонят под пулеметы и отцовых людей? От этой мысли тоскливо сжималось сердце. О, сколько историй подобного рода наслушался я и в тылу, и на фронте! Не берегли у нас бойцов. Да и кому их было беречь, когда дивизиями, корпусами, а то и армиями командовали у нас потомки тевтонов, остзейские бароны. Им ли беречь русскую кровушку?! Еще граф Толстой в «Войне и мире» вывел этот механический тип бездушных командиров: «Первая колонна марширует направо, вторая колонна марширует налево...»

– Ваше высокоблагородие, сотника Кудрявцева убило! – доложил запыхавшийся посыльный.

Все сняли фуражки и перекрестились.

– Царствие ему небесное...

Это был тот самый сотник, что встретил меня в перелеске и проводил к отцу. Родом он был, кажется, из Батайска... Теперь он лежал на еловом лапнике, накрытый шинелью, и во лбу у него нелепо и страшно торчал осколок немецкого снаряда. Видно, поймал он свою смерть на излете. За два года войны я повидал немало смертей...

Как нелепа в сущности война. Жил человек – веселый удалой сотник Кудрявцев, и окружал его целый мир, созданный им и его жизнью. И вдруг бесформенный кусок рваного железа пресек этот мир, и погасла целая вселенная только потому, что он не успел на две секунды разминуться с этим летящим вслепую осколком снаряда, пущенного вовсе не прицельно, а наобум Лазаря; пущенного рукой немецкого канонира, которому никакого дела не было до сотника Кудрявцева и его дел, и в которого вот так же случайно вопьется шальная русская пуля, и оборвется еще один человеческий мирок со своими заботами и радостями, населенный родичами, женщинами, друзьями... По чьей сатанинской воле обрываются эти миры? Кто скрещивает траектории смертоносных снарядов с жизненными путями людей? О, конечно же, не ты, Господи!

* * *

Вечером ужинали в блиндаже.

Отец долго ругал летнюю барановическую операцию, потеряв остатки бывшего уважения к высшему командованию. Судя по тому, что он рассказывал, операция и в самом деле была убийственно бездарной, причем убийственной для тысяч солдат и казаков, зазря сложивших головы, но никак не для тех, кто ее придумал и провел.

В целях внезапности атаки передвижения войск производились по ночам, но перегруппировка была обнаружена противником из-за большого числа перебежчиков, в том числе из Польской стрелковой бригады. Пристрелка артиллерии началась за несколько дней до атаки, что также демаскировало подготовку к наступлению. Артиллерия не подавила толком бетонные бункеры немцев, и пехотные цепи были выкошены пулеметным огнем. Сверхосторожный генерал Эверт, командовавший русскими войсками, не смог ни в малейшей мере повторить успешный прорыв генерала Брусилова на Юго-Западном фронте.

– Положили восемьдесят тысяч человек и не продвинулись ни на шаг. Ради чего?

Чтобы прервать мрачный ход отцовских мыслей, я сообщил ему новость, от которой он сразу повеселел:

– Беру в жены Татьяну... Если благословишь.

– Татьяну Ухналеву? А что, хороша невеста! Любо! И семья благородная. Вот порадовал так порадовал! Как же не благословить?! От всей души благословляю!

Он снял иконку Донской Божией Матери и сделал ею над моей головой крестное знамение.

– Эх, мамани нашей нет! То-то бы возрадовалась! Она эту Таньку с коротких косичек знавала. Доброе дело удумал! Совет вам да любовь! А она-то согласна? – спохватился отец.

– Мы с ней в Питере объяснились. Согласна. Войну прикончим и сразу свадьбу сыграем.

– Войну... – помрачнел отец. – Как бы она нас не прикончила, стерва, клятая... Уж больно погано все выходит.

И он снова взялся за разбор операции.

На заре вернулись из Новогрудка квартирыеры. Полк свернул палатки и перешел в местечко. Казаки стали на постой по дворам обывателей. Отца и всех его штабных определили в добротный кирпичный дом с чугунным балкончиком. Хозяева-евреи почтительно накрыли

нехитрый стол: картошка в лупеже, селедка с луком и свеклой... Офицеры достали манерки, обшитые шинельным сукном, забулькали в стаканы.

– Хорошо вам с турками воевать, – рассуждал пожилой есаул, поддевая на вилку, как на пику, оставшуюся селедочную голову. – Турок враг давний, привычный, от шашки бежит, от пики хоронится. А немец-то больше за машину прячется да машиной отбивается. Шашкой против машины много не помашешь. Вот и воюем аки драгуны. Кони в схроне, казаки в окопах. Дух казачий теряем.

– Дух дело наживное, подъемное, – возражал ему отец, подкручивая фитиль керосиновой лампы. – А вот головы казачьи летят почему зря. Уж сколько казаков в эту землю уложены, а до Берлина, как до Луны.

– Сто двадцать три нижних чина и пять офицеров, – наизусть уточнил сотник-адъютант. – В других полках еще хуже.

– Вот ты мне сотню с полусотней построю да верни ее на Дон. То-то бы ребята там пригодились, – вздохнул есаул, наполняя граненую чарку.

– Хватит, братцы, журиться, – предложил отец. – Давайте песню сыграем.

– Любо!

Сотник-адъютант откинулся на спинку венского стула и завел красивым фальцетом:

Когда мы были на войне...

Под эту песню я написал длинное и нежное письмо Татьяне.

* * *

Настал день моего отъезда в полк.

Отец снял с груди свой амулет – ладанку с «перелет-травой» – и повесил мне на шею.

– Моя мать, бабушка твоя, проводила меня на японскую войну с этой ладанкой. В ней наша хоперская «перелет-травка». Слышал про такую?

– Нет.

– Так послушай... С «перелет-травой» тебя ни одна пуля не клюнет – перелетит. У меня под Мукденом дважды перелетала: один раз папаху сбила, а в лоб не попала, другой раз – по ребрам чиркнула, а в грудь не вошла. Так-то! Носи! Она и тебя сбережет, как меня.

С этой ладанкой да с отцовым объятием я и отправился на свой – Турецкий фронт, в свой полк... Знать бы, что вижу отца в последний раз...

На прощанье он подарил мне трофейный немецкий бинокль, в который я смотрел на германские позиции, и трехцветный сигнальный фонарик. Бинокль был весьма необходим в горах.

Отец торопливо перекрестил напоследок и долго смотрел вслед уносящему меня грузовому мотору. Сердце тоскливо ёкнуло – увидимся ли еще раз? Эх, батя, нам бы с тобой поместиться фронтами!

6 ноября 1916 года я вернулся в свой полк, который стоял в горах Хаккияри, разбросанный по ассирийским селениям. Корявые горные леса стояли в золотом убранстве. По питерским меркам было еще довольно жарко – за 20 градусов Цельсия. Но местные женщины, собирая кизил, уже кутались в платки.

В полку меня ждали две новости – одна хуже другой. Подьесаул Таратута хлестанул нагайкой дерзкого хорунжего. Тот в хорошем подпитии достал наган и выстрелил обидчику в лицо, а потом застрелился сам. Обоих схоронили в одной могиле. Примирила их навечно сухая турецкая земля... Вторая новость была еще хуже: третья сотня нашего полка, отправ-

ленная сопровождать беженцев-ассирийцев, вошла в тесное ущелье и там почти вся погибла под пулеметами засевших курдов. Чудом вырвались лишь несколько всадников, и среди них оказался, по счастью, Пашка, Павел-паша. Он-то и рассказал подробности этого побоища. Мы сидели в местном духане, пили темно-красный чай в стеклянных ормудиках, и Павел с потухшим взглядом, уставившись в дымящееся наверхие кальяна, с трудом выдавливал фразы:

– Сотня шла походным порядком. Впереди ехал дозорный разъезд. За ним арбы, по бокам боевое охранение. Я вел арьергардную группу. Полагали, что курды, как всегда, ударят с тыла... Они и ударили – и с тыла, и с флангов, и спереди. Взяли в кольцо... В лаву не развернешься – и не спешишься под огнем. В самой теснине подгадали. Кони раненые визжат по-человечески... Всюду кровь... Арбы не развернутся, загородили проезд дозору... Все смешалось. Казаки, женщины, дети, кони, старики... Крики, вопли, стон, плач... Били сверху – без промаха. Вырвались те, кто ехал в тыловой походной заставе... Это не война. Это бойня!

* * *

Несмотря на то, что снабжение наших войск на Кавказском фронте заметно ухудшилось – пайку хлеба нижним чинам сократили на треть, на столько же урезали и норму овса для коней, – итоги кампании 1916 года превзошли все ожидания. Уже к нынешнему лету мы освободили большую часть Западной Армении, что позволило заметно уменьшить размах резни османами армян и ассирийцев и других христианских народов. Русские войска продвинулись по всему 1000-верстному фронту, который мы успешно держали все годы войны, и заняли турецкие города Эрзерум, Трабзон, Эрзинджан и Битлис – столицы курдских беков.

Зима 1917 года выдалась в Восточной Анатолии суровая и многоснежная. Горные дороги и перевалы заносило снегами в человеческий рост. Обозы стояли неделями, не в силах пробиться сквозь беспрестанную пургу, в которой через двадцать шагов терялись очертания человека. Солдаты, казаки, кони нещадно голодали. Пустили на вареное всех окрестных ишаков и даже котов. Величайшим лакомством считался бульон из овечьих хвостов. Варили бараньи рога до клейстера, который потом намазывали на сухари. Голодные кони, исхудавшие до мослов и ребер, отгрызали друг у друга гривы и хвосты по самую сурепку. Разжиться чем-то у местных курдов было совершенно нечем, они сами жили в своих каменных лачугах впроголодь, как в доисторические времена.

Острейшей проблемой были дрова. На топливо разбирались брошенные хибары и плетни. Лишь к Рождеству к нам пробилась лыжная команда, которая в заплечных мешках доставила чечевицу, курдючное сало, сухари и местное домашнее вино в бурдюках. Рождество вышло на славу, хотя вкуснейшей чечевичной каши на курдючном сале досталось далеко не всем. Часть чечевицы ушло на корм самым отощавшим коням. А потом снова пошла бескормица.

И все же фронт держали. Держали, пока не грянул февральский переворот в Петрограде. И Кавказский фронт потек с горных позиций в низины, словно подтаявшая лавина. Но это случилось не враз – ближе к другому перевороту – октябрьскому, большевистскому.

А в марте мы с Павлом получили назначение в пулеметную команду 4-й Кубанской казачьей дивизии. Когда мы добрались до нового места службы, дивизия перебрасалась на станцию Акстафа и разгружалась, чтобы дальше следовать походным порядком на Джульфу, а оттуда в Персию, в экспедиционный Кавказский кавалерийский корпус генерала Баратова. Конечно, интересно было увидеть новую загадочную восточную страну – зимние тяготы и лишения не отбили у нас интерес к жизни, к свежим впечатлениям, но фронт, подточенный бунтовщиной, разваливался на глазах. Целые полки и батальоны самовольно снимались с позиций и уходили в глубокий тыл, добывая себе пропитание штыком, саблей, пулей.

Наш полк держался до последнего – до ноября Семнадцатого года. Держалась и наша пулеметная команда. В боях мы почти не участвовали, совершенствовали свою пулеметную выучку. Пулеметы были самые разношерстные – и «Максимы», и шварццозе, и льюисы, и гочкисы... Разнородная техника и ее хитрая механика отвлекали наших казаков от дезертирских настроений. Патронов для персидского похода было припасено немало, и теперь мы через день упражнялись в стрельбе по мишеням, разместив их в глубоком длинном овраге. Мальчишки-армяне с любопытством смотрели на нас сверху, а потом подбирали стреляные гильзы.

Но вот настал и наш черед. Полковой комитет проголосовал: штыки в землю, идем домой!

Незадолго до ухода командующий фронтом генерал от инфантерии М. Пржевальский повысил всех офицеров, удерживавших полк на позиции, в чине на одну ступень. Так, словно в утешение, командир полка вручил нам с Павлом погоны подьесаулов. Обмывать новую звездочку было как-то неловко: за странное, вовсе не боевое дело мы ее получили – не за взятие вражеских позиций, а за удержание своих войск на своих позициях. Впрочем, ходить нам в новых чинах пришлось недолго. Через месяц большевики отменили и все ордена, и все чины, да и сами погоны повелели снять.

А пока мы паковали свои нехитрые пожитки и трофеи. Я уложил в новенький, купленный еще в Кисловодске баул пару нижнего белья, старинный кремневый курдский пистолет, медную турку-кофеварку, образок Николая Чудотворца, серебряный браслет, расписной платок для Тани, кисет с кофейными зернами, кирпич кунжутной халвы, пластунский кинжал, томик Лермонтова... Эту книгу я приобрел во все том же Кисловодске после объяснения с Таней. Я почувствовал в Лермонтове не просто поэта, своего собрата – кавказского офицера, который служил и воевал в этих горах всего лишь семь десятилетий назад и который испытал и пережил здесь все то, что испытали и пережили мы. И вот так же, как он когда-то или его герой – «странствующий офицер» – поручик Печорин, едем и мы с Павлом на армянской арбе, уложив на ее дно свои баулы. Я даже попытался примерить на себя роль Печорина, точнее его шинель, которую он носил как плащ Чайльд Гарольда. Время от времени я ловил себя на мысли, что играю в поручика печального образа. У меня даже туземный роман случился с девушкой-горянкой, подобной его Бэле. Но я никогда никому, даже Павлу о том не расскажу...

Я пытался думать, как Печорин, и подражать ему в манерах, но у меня это плохо получалось. Мне не хватало его скептицизма и отрешенности от обыденной жизни. Я не мог быть ни скептиком, ни ипохондриком, потому что у меня была Таня и жил предвкушением нашей встречи. Это было самой большой и самой радостной наградой за все мои военные скитания и лишения. Теперь, когда час заветного свидания был так близок, когда война уже практически завершилась, когда колеса арбы хоть и медленно, но с каждым часом приближали меня к России, к нашей скорой сто раз обговоренной в письмах свадьбе, сердце мое отбивало бешеные барабанные дробы счастья. Простите, господин Печорин, какой тут может быть сплин, какая вселенская хандра?! Жаль, что ни Бог, ни автор не сосватали такой же славной невесты, как у меня.

Итак, после октябрьского переворота, когда турецкий фронт, подточенный революционной пропагандой, поехал с кавказских гор, как мутная селевая лавина, мы с Павлом возвращались на родину бывальыми фронтовиками. Кто бы смог узнать в пропаленных на горном солнце казачьих офицерах с чубами из-под узких козырьков полевых фуражек, с нашивками за ранения и новенькими Станиславами на груди консерваторских студентов, забывших, должно быть, не только как держится инструмент, но и самую нотную грамоту. Однако же не забыли...

Но как же медленно, как скрипуче вращались деревянные колеса этой колымаги, влекомой парой облезлых волов. На крутых подъемах мы слезали и толкали арбу плечами вместе

с возницей – пожилым унылым горцем в островерхой каракулевой шапке. Иногда нам помогали местные крестьяне, которые, как и в лермонтовские времена, подрабатывали себе таким образом на стаканчик винца в духане.

Почти двое суток катили мы на север, пока не достигли долгожданной Джульфы. Отсюда начиналась железная дорога, отсюда начиналась цивилизация. В Джульфе всеми делами, и прежде всего железнодорожными, заправлял местный ревком, а также взбулгаченные разнузданной свободой солдаты. Никто никому не козырял, никаких знаков почтения к офицерскому чину никто не оказывал, многие были без погон и кокард. Все были обуяны одной идеей – побыстрее уехать из Джульфы – на буферах ли, на вагонных крышах, но только подальше от этих унылых враждебных гор, поближе к России.

Мы тоже потолкались в общей толпе, облепившей двери ревкома, – только там можно было получить мандат на посадку, но нас и близко не подпустили к заветному кабинету.

– Дела... – прикусил Павел острый ус. Надо было любой ценой выбраться отсюда в Нахичевань, а оттуда, полагали мы, добраться до Баку. А от Баку до Ростова дорога накатанная. Потолкавшись у дверей городских властей, мы отправились на станцию. Но там на путях не было ни одного вагона. Ближайший состав ожидался только завтра утром. На него и раздавали мандаты. Вокзальчик, перрон, площадь – все было запружено озлобленными армейцами, рвавшимися домой. Мы ловили косые и откровенно враждебные взгляды. Не став искушать судьбу, побрели мы в ближайший духан. Одноэтажная каменная хоромина стояла на берегу бурного Аракса. Хозяин-армянин неопределенных лет встретил нас приветливо и даже радостно, как встречают задержавшихся где-то очень желанных гостей. Он выхватил баулы из наших рук и, белозубо улыбаясь, потащил наш багаж в духан. Это была первая улыбка, которую нам подарили в этом хмуром зимнем городке. Правда, эта улыбка обошлась нам весьма недешево: за крохотную в три аршина каморку, застланную протертым до дыр ковром, и длинным валиком вместо подушки духанщик запросил с нас по «красенькой» с носа. Это был суший грабеж – 20 рублей за ночлег до утра!

Но деваться было некуда. Утешало то, что в стоимость нашего «номера» входили хаш и шашлык, приготовленный из мяса животного непонятного происхождения. Пристроив свои баулы и изрядно подкрепившись, а потому повеселев, мы пошли осматривать Джульфу. Ничего особенного, кроме кладбища хачкаров, мы так и не узрели. Павел достал из шинели блокнот и стал набрасывать бесконечно длинные ряды стоявших торчком тесанных из камня надгробных плит. Это было величественное, но удручающее зрелище. Будто сотни окаменевших людей, будто целое войско встало на вечный бивак. Исчезнув физически, каждый из них по-прежнему занимал свое место в пространстве живых людей.

Переночевав в духане на блохастом ковре, выхлебав по чашке горячего густого хаша, мы отправились на вокзал. Здесь уже попыхивал дымком и паром низкорослый паровозишко во главе дюжины товарных вагонов. Все они уже были битком набиты солдатами. Борьба шла за места на крышах и буферах. Нечего было и думать втиснуться в эту озлобленную толчею. Хвостовой вагон – не самый полный – тщетно штурмовали пехотинцы. Теплушку занимали казаки и «иногородних» не пускали. В руках стражей вагонного проема грозно поблескивали обнаженные шашки.

– Ей бо, башку срублю! – обещал широкоплечий вахмистр, поигрывая клинком перед носом настырного долговязого стрелка.

– Эй, станишники, здорово ночевали! – крикнул Павел казакам. – Своих примите?

«Станишники» зыркнули на нас довольно хмуро. Серебристые нашивки за ранения на наших руках, должно быть, их несколько смягчили.

– Ну, залазьте, коли свои!

Мы не заставили себя долго ждать: закинули баулы и сами запрыгнули в теплушку, не веря своей удачи. Казаки из разных полков держались кучно, они еще хранили почтение к

офицерским погонам – подвинулись, дали место сесть, угостили табачком. И хотя мы оба не курили, пришлось задымить за «кумпанию».

Стояли невыносимо долго – часа два, пока наконец состав, гремя и звеня железными суставами, не покатил в сторону Нахичевани. Зимний ветер задувал во все щели. Задвижка проема была сломана и в него хорошо было видно, как проплывали мимо утесы и стёсы красноватых гор. Порой поезд въезжал в щель, прорубленную в скалах, и вагон наш едва не терся о каменные стенки.

Казачьи гутарки меж собой о брошенной службе, о турках, которые несомненно вернутся в эти края и перережут всех, кто помогал русской армии. Но больше всего волновала и их, и нас та будущая непонятная жизнь, к которой мы ехали, к которой так жадно стремились.

Поздним вечером наш эшелон притащился наконец в освещенную редкими огоньками Нахичевань. Теперь отсюда надо было пробиваться на Баку. Этот город из здешней глубинки казался чуть ли не центром мира. Во всяком случае, из Баку можно было выбраться в Россию и морем (через Астрахань), и рельсами, и шоссейными дорогами.

Ночь перекемарили в теплушке, а утром Павел громко возгласил:

– Здорово ночевали, казаки!

– Слава Богу! – отвечали ему совсем не здорово ночевавшие казаки.

– Слушай меня, ребята! По одиночке мы в Баку не пробьемся. Пойдем сообща, строем, как боевая единица. Тогда все разом и уедем.

– Любо!

– Раз «любо», – подъем! Сотня, становись!

Сотни, конечно, не набралось, но полусотня быстро выстроилась вдоль рельсов с закинутыми на плечи седлами, заплечными мешками, винтовками и двумя ручными пулеметами, к которым не было патронов. Мы с Павлом возглавили пешую колонну и мерным шагом двинулись на вокзал, выстроенный в затейливом восточном вкусе. Наше явление на перроне произвело на военного коменданта должное впечатление. Павел сумел внушить ему, что мы направляемся в Баку, сопровождая ценный груз – полковую казну, и нам, о чудо! – выделили пассажирский вагон. Вагон оказался раздолбанным пульманом 3-го класса. Но мы взирали на него, как на спасительный ковчег. В мгновение ока казаки заняли его, выставив у дверей караульных, а на площадках пулеметы.

– Крупы не пущать! – наставлял вахмистр часовых, но те и сами не хотели подпускать к заветному вагону крикливую расхристанную пехоту.

Двух казаков вахмистр отрядил на добычу кипятка и отправил небольшую экспедицию за провиантом на рынок. Мы с Павлом скинулись по «беленькой» – по четвертному билету – и вручили деньги покупателям. И казаки, не будь они казаками, притащили с привокзального рынка тушу освежеванного барана, корзину с яблоками, стопку лепешек и бурдюк с красным вином. Вахмистр знал свое дело. Тем временем казаки развели костер близ свалки паровозного шлака и уложили на уголья баранью тушу, воткнув по углам кострища четыре штыка. На ароматнейший запах жареной баранины, запах капающего на угли жира стали собираться голодные солдаты. Они жадно втягивали ноздрями невыносимый аромат.

– Ходи мимо! – бурчал кашевар. – Своё жарим.

– Отрежь, кум, шматочек! – канючил чернобородый артиллерист.

– Подставляй... – отрежу.

– Ну, кум, а кум!

– Односум тебе кум! А я хоперский. Не вишь – на всю сотню жарю. Самим не хватит!

– Знал бы, жрать-то как хоцца!

– Вот и нечего было полк свой бросать! Ступай прочь, а то обижу!

Кольцо солдат вокруг костра стягивалось все плотнее и плотнее. Вахмистр, почуяв недоброе, выслал на подмогу кашевару отделение вооруженных казаков. Только под их конвоем удалось отнести готовую тушу к вагону.

– У, царские прислужники, фараоны проклятые! – прокричал им вслед голодный артиллерист. – Доберемся мы еще до вас, опричники!

Тем временем пульман перецепили к поезду, идущему в Баку.

Наш «атаманский» авторитет в глазах казаков резко вырос, и теперь нам были оказаны все подобающие знаки внимания. Нам постелили в отдельном купе, поставили миску с самыми лучшими кусками баранины и налили баклажку красного вина. Ехали, как всегда, с долгими остановками и худо-бедно добрались через двое суток в Баку. Здесь было намного теплее, чем в горах, да и, судя по тому, что торговцы выносили к вагонам, – сытнее. В Баку мы проделали все тот же трюк: вывели сотню на перрон, оставив пару дневальных охранять пульман, и четко продефилировали перед глазами железнодорожного начальства. Казаки проделали это с особой лихостью, понимая, что сулит им этот незатейливый спектакль. И он снова удался. Наш пульман прицепили к составу Баку – Ростов, и мы под общее «ура!» двинулись на родину, в Россию! Ехали трое суток. За это время красные отряды дважды пытались разоружить наших казаков. Но всякий раз Павел оказывался превосходным дипломатом, и казачий «спецвагон» отправляли дальше. Правда, в Армавире пришлось пожертвовать ручными пулеметами, даром что без патронов.

И только в Ростове мы расстались со своей сотней, которая враз разбрелась на все четыре стороны. Зато к нам прибился расторопный прапорщик Саша Шергей, который добыл у здешних рыбаков целый вещмешок вяленого донского чебака и щедро поделился с нами.

Расстелили мы шинельку в скверике ростовского вокзала, достали из чемоданов нехитрую снедь, пару бутылок и устроили себе отвальную перед началом новой жизни. Вспоминали Сарыкамыш, и перевал Эски Ташкермен, и осаду Эрзерума, походные госпитали, имена друзей или командиров, радовались речному простору Дона, родному солнцу и той безбрежной воли, что ведет человека куда глаза глядят. Вся Россия предвкушала в те еще весьма безмятежные дни новую жизнь и пьянящую свободу.

Часть вторая. Саламандра с острова смерти

*Въ вагонъ трамвая вошелъ молодой офицеръ и, покраснев, сказалъ,
что онъ не можетъ, к сожалению, заплатить за билетъ.*

Иван Бунин. Окаянные дни

Глава первая. «Мы встретились как родные братья...»

Петроград. Декабрь 1917 года

...В Петроград я добирался налегке. Все свои фронтовые пожитки оставил в Ростове у тетки Мартынова, которая жила близ вокзала и которая обещала сохранить все до лучших времен. Нечего было и думать втиснуться хоть с каким-нибудь багажом в вагоны, набитые битком озлобленными истомленными бесконечными дорожными задержками людьми, большей частью спешащими домой солдатами. Погоны, кокарда, кресты и шпоры – все, что выдавало во мне офицера, было надежно упрятано на дно солдатского мешка, но пассажиры в рваных обмотках и грязных шинелях злобно косились на казачьи лампасы и офицерский ремень, подпоясывавший шинель явно несолдатского сукнеца.

В Питере меня никто не ждал. Как оказалось, Таня уехала к своим в Гродно. Питер встретил меня неистовой пургой, прилетевшей из Финского залива. Снег залепил мои плечи так, что все мои офицерские приметы оказались скрытыми от красных патрулей. Я без приключений добрался до Никольской, где квартировал студентом. Хозяйка меня помнила и по старой памяти определила на ночлег в моей бывшей каморке.

– Какие мы важные стали! Ни за что бы не признала! – ахала она. – Кабы не голос ваш. Вам бы в хоре с таким тенором петь... Ох, да какие нынче хоры! Все разогнали, все сломали, все позакрывали красные басурмане! По улице не пройдешь, все мандаты им какие-то подавай. Хлеб с мякиной пекут... Тьфу!

Я отломил ей полфунта халвы, и хозяйка пришла в радостное изумление, побежала ставить самовар.

В Петрограде первым делом я отправился в консерваторию. Надо было срочно восстановиться в числе студентов. Ясно было, что моей военной карьере пришел конец. Я совершенно не хотел служить всем этим невесть откуда взявшимся Керенским-Лениным-Троцким. Но на глаза будущему тестю надо было явиться если не офицером, то хотя бы студентом.

Столица поблекла и обесцветилась, город, и без того всегда холодный к наезжим пришельцам, под новой властью и вовсе встретил меня враждебно.

В консерваторию я явился при полной амуниции – в погонах подьесаула и при всех боевых наградах. В учебной части, увидев меня, ахнули, но совсем не так, как я ожидал на фронте – не восхищенно, а испуганно, будто я предстал в разбойничьем обличье, а околоточный рядом.

– Что вы, что вы! – замахал на меня инспектор, едва я завел речь о восстановлении в числе студентов. – Сначала – на Гороховую, на регистрацию. Вы же – офицер! – Последнее прозвучало как «вы же – прокаженный!» – И снимите с себя все ваши старорежимные регалии. У нас теперь в консерватории комиссар. Увидит – греха не оберетесь. Будьте осторожны, любезный, – сделал ласковый голос инспектор. – Если хотите доучиться и... сохранить голову.

Я внял доброму совету и покинул консерваторию без погон и крестов; снял их, пылая от стыда и обиды, в мужском туалете. Не так я представлял свое возвращение в альма-матер.

Вот только нагайку свою не стал прятать, ходил с нею, засунув за голенище сапога. Она, конечно же, вызывала неприязненные взгляды. Но ни один красноармейский патруль не смог бы придаться ко мне – нагайка не наган и не кинжал. Но при случае ею можно отбиться от шпаны или налетчика, которых развелось в голодном Питере, как крыс в подвале.

Эх, нагайка, нагаечка!..

По Указу государя императора Александра III от 1885 года, «нагайка общего казачьего образца должна составлять принадлежность каждого казака от генерала до простого казака». Устав строевой казачьей службы разрешал степовым казакам носить её на плечевой перевязи. Но я всегда носил ее за голенищем, на плече хватало всяких ремней.

У нас в Павловской да и в Зотовской тоже нагайку разрешалось носить только женатым. А на свадьбах тесть дарил нагайку новоиспеченному зятю. У обоих моих дедов нагайки висели по старинному обычаю на левом косяке двери в спальню...

В качестве знака полной покорности и уважения нагайка может быть брошена к ногам пришедшего гостя или старика, который обязан её поднять, а бросившего – расцеловать. Если гость через нагайку переступал, это означало, что покорность ему неужодна и обида или грех провинившегося не прощён, жди разбирательства дела.

Итак, нагайку я себе оставил, а вот гимнастерку, фуражку, шаровары и сапоги – аккуратно сложил и упаковал в плетеную корзину с крышкой, которую мне прислали когда-то из дому, полную наших яблок-каштелей.

Внял я и другому совету – не ходить на регистрацию в ВЧК. Не пошел и... завис между небом и землей. Я оказался в Питере на полулегальном положении: никто не хотел брать меня с моими документами на работу.

Я с омерзением относился к новым правителям. Мало того, что они захватили власть за спиной воюющей армии, так они же, эти невесты откуда взявшиеся адвокатишки, понаехавшие из-за враждебных России кордонов, поставили нас вне закона, нас, кто воевал за нее, оборонял ее, годами подставлял грудь под пули и получал их. Брали офицеров на особый учет как опасных преступников! Воистину, все стало вверх дном в любезном отечестве. Те, кто отсиживался в тылу или делал заграничные гешефты, решали теперь судьбы тысяч русских офицеров. И как решали! Кого в подвал, кого под пулю... Можно было подумать, что к власти пришли немцы или же турки и теперь сводят счеты с теми, кто воевал против них.

Я еще больше упрочился в этой мысли, когда узнал, что большевики отдали немцам все лучшие западные земли России, заключив с ними мир, который сразу же окрестили в Питере похабным, настолько издевательским, точнее, предательским было это соглашение.

При всём при том на невских берегах обретались сотни и сотни бывших офицеров – армейских, гвардейских, морских, казачьих, которые, если бы объединились, если бы выступили разом, от этих местечковых троцких, ульяновых, урицких не осталось бы и следа. Но господа офицеры выжидали, чем все это кончится, большинство же норовили устроить свою жизнь на новый лад и не задумываться над тем, кому ныне служат и кто правит бал в обеих российских столицах.

Чего греха таить, я и сам поначалу надеялся, что большевики падут сами собой, настолько вызывающе вели они себя, настолько жестоки были их декреты, указы, приказы.

Занятый добычей хлеба насущного, я не очень-то вникал в текущую политику. Но тут некий Канегиссер убил Моисея Урицкого. Однако расплачиваться за это убийство большевики решили офицерскими головами: объявили «красный террор». Пачками брали заложников, в газетах запестрели списки расстрелянных...

Однажды поздно ночью постучались и в мою каморку на Никольской. Кто-то донес? Я выхватил из-под подушки наган. Продавать жизнь – так задорого. А может, отобьюсь? – брезжила последняя надежда. Открыл дверь и охнул: предо мной стоял Мартынов. Пашка! Пашечка...

Мы встретились как братья. За кружкой морковного чая с ржаным сухарем – все, чем я мог угостить боевого товарища, если не считать вяленого леща и донской вишневой наливки, которую Павел каким-то чудом довез до Питера. За скромной трапезой порешили: уходим на Дон, в Новочеркасск, в возрождаемую русскую армию. Паша всегда точно знал, что и когда надо делать. Я же был склонен к рассуждениям – а что будет, если я поступлю по-иному. Пашка же рубил с плеча баклановским ударом...

Утром связались со знающими людьми. И нам сказали: на Дон идите через Оршу. Дали адрес переправочного пункта, назвали человека, который проведет нас за немецкий кордон. Государственная граница Германии и красной России проходила в 1918 году через Оршу.

Купив мешок семечек и спрятав на дне его сверток с наганом, крестами, погонами, документами, мы, под видом спекулянтов-мешочников, отправились на Царскосельский вокзал, где толпы переезжего люда штурмовали вагоны идущего на юг через Оршу поезда. Только не утраченный еще фронтовой опыт позволил нам взять с боем – через окно! – верхнюю полку одну на двоих.

На наше счастье, мы сохранили старые студенческие билеты. С ними, миновав две проверки, добрались до Орши вполне благополучно, двое суток питаюсь одними лишь семечками. На Днепровской улице нашли домик, указанный нашими конфидентами.

Орша. Январь 1918 года

На северной стороне от вокзала, почти у самих рельс, стояла ладная рубленая хата с голубыми ажурными наличниками. Мы постучались в глухую калитку. Истошным лаем зашлась во дворе собака.

– Ах, каб цябя Пярун забиу! – послышался глухой мужской голос в сенях, и через минуту лягнула железная клямка – калитка приоткрылась.

– Здравствуйте, – сказал Павел. – Нам бы Федора Леонтьевича.

– Я Ляонтьич, – отвечал крепкий мужик лет сорока пяти, с круглым лицом и курносый носом. Голубые глаза из-под кустистых бровей смотрели настороженно, но приветливо.

– Мы привет вам привезли от Петра Алексеевича! – назвал пароль Павел.

– Ну, кали привезли, так проходите. – И крикнул неумному хвостатому сторожу: – Цыц! Каб цябе воуки зъели!

Мы прошли в чистую теплую хату, где хозяева уже приготовились к ужину. В красном углу под вышивным рушником на нас смотрели лики Спасителя, Божией Матери и Николы Чудотворца. Мы не спеша перекрестились, и это вызвало немое одобрение у хозяйки дома – дородной белоруски в темно-синем длинном платье, подхваченном в поясе шалью.

– Так сядайте разом з нами. Повечеряйте!

Мы не заставили себя долго просить. Дорожный голод донимал нас со вчерашнего дня.

За столом сидел сын хозяев – светловолосый парень лет двадцати пяти – весь в мать.

– Антон! – представился он, протянув для пожатия крепкую ладонь мастерового со следами ожогов и шрамов. Ужин был простым, но сытным: чугунок с отварной картошкой, миска с кислой капустой, фаянсовая селедочница с крупно нарезанной сельдью в кольцах репчатого лука и блюдец с постным маслом. Картошку и хлеб макали в блюдец, а потом заедали сельдью. Все показалось невероятно аппетитным и вкусным.

По мере насыщения мы присматривались к окружавшей обстановке. Среди обычной утвари в глаза бросился портрет бородатого адмирала, похоже, Макарова. Внизу чуть пониже и в рамке поменьше висело фото самого хозяина – в форменке, с боцманской дудкой и лихой бескозырке с надписью «Пересветь».

Федор Леонтьевич перехватил мой взгляд:

– Адмирал Степан Осипович Макаров. Самолично видел его в Порт-Артуре. Там он сгинул на корабле. А тут вчера начальник большевицкий, хрен с бугра, увидел и кричит: «Сымай со стены эту старорежимную контру!» А я яму: «Моя хата, каго хочу, таго и вешаю». А он, бандита кусок, и говорит мне: «Смотри, дед, завтра и тебя рядом повесим!» Ну, что тут скажешь?! В хату заходят, як к сябе домой, берут что хотят, всю муку выгребли, Никитична схватить не успела, бульбу аж два мешка взяли. Сало забрали. И на все у них одно слово – «реквизиция». Под это дело обчистили всех – хуже немцев, хуже врага лютого. А все похваляются – мы народная власть!

Никитична строго зыркнула на него – не трепись перед незнакомцами. Леонтьевич взгляд супруги понял и сменил тему.

– Завтра пораньше встанем, и я вас на тот бок пераправлю.

Нас отвели в пристройку из старых шпал, где у Леонтьевича была оборудована слесарная мастерская – с наковальней и кузнечным горном. В углу стоял лежак, накрытый рогожами и старым бараньим кожухом. В горне тлели угли, хозяин подсыпал новых – для тепла. И мы почти без сил повалились на топчан.

Уснули не сразу. Тревожил завтрашний переход границы. Как-то все будет? А если красные схватят? Разбираться долго не будут – к стенке и весь разговор...

Стояла густая ночная тишина. Ни паровозного гудка, ни собачьего бреха. Городок затаился, затих, будто вымер...

* * *

Ранним утром Никитична сунула нам узелок с картошкой, хлебом и селедочными хвостами и большой луковицей:

– Чем богаты!..

Мы поклонились ей в пояс. Паша отсыпал ей в лукошко наших семечек.

Леонтьевич был молчалив и собран. Он велел надеть замасленные железнодорожные «куфайки», взять лом и путейский молоток. И мы двинулись, как бы по делу, в сторону Орши-товарной. Наш провожатый шагал уверенно, видно, проделывал этот путь не в первый раз. Миновали стрелочные переводы, пролезли под товарными вагонами, уходя от пакгаузов, вокруг которых прохаживался часовой с винтовкой. Потом еще раз пролезли под вагонами и под прикрытием длинного пустого товарного состава добрались до шлакового отвала, где паровозы чистили топки. Отсюда до демаркационной линии, отмеченной колючей проволокой, было рукой подать. Побивая для вида шлак ломом, мы приближались к тому месту, где за штабелем снегозащитных щитов был лаз под «колючку».

– Ну, бывайте, хлопцы! Храни вас Господь! – сказал нам на прощанье Леонтьевич и, взвалив на плечо наш «струмент» – лом и молоток, отправился в обратный путь. Мы же, подхватив мешок с семечками, прошмыгнули под приподнятую кем-то «колючку» и оказались на немецкой территории. С немцами тоже не хотелось иметь дело, и мы, прижимаясь к заборам и станционным строениям, уходили все дальше и дальше от опасной границы.

Глава вторая. Если не мы, то кто?

В Ростове без лишних формальностей нас с Павлом зачислили в офицерский добровольческий отряд подполковника Симоновского. Благо мы прибыли со своим оружием и документами. Зачислили нас на должности рядовых стрелков. Никто здесь не смотрел на офицерские погоны. В шеренгах стояли не по чинам, а по ранжиру, так что на правом фланге мог стоять рослый подпоручик, а на левом – щуплый капитан. Взводами и ротами командовали подполковники и полковники.

Все это напоминало юнкерское училище, где каждый мнил себя без пяти минут офицером и где ждали производства как второго пришествия.

На вечернюю поверку и утреннее построение в одних рядах стояли офицеры самых разных российских полков едва ли не всех родов войск, но все в заурядных солдатских гимнастерках и шинелях. В этом была особая жертвенность, ведь каждый, вступая в ряды Добровольческой армии, отрекался от прошлых должностей, заслуг, чинов, привилегий. Каждый из нас добровольно становился рядовым, чтобы дать отпор той нечистой силе, которая захватила обе столицы, Зимний дворец, Петропавловскую крепость, Московский Кремль...

На вечерней прогулке мы воодушевленно пели:

Мы смело в бой пойдем
За Русь святую
И как один прольем
Кровь молодую.

Да, большинство из нас были очень молоды. Некоторые встали под знамя генерала Корнилова даже не понюхав пороха – юнкера, кадеты, студенты, гимназисты, ученики реальных училищ... Но все готовы были идти в бой против захватчиков законной власти, против глумливых и лживых политиканов и их вождей, которые считали, что теперь ход российской истории пойдет по их воле, по их разумению, по их планам.

Нас было немного: едва ли не больше двух рот, которые гордо именовались «батальоном». Но каждый день Добрармия понемногу пополнялась. Понемногу... Хотя Ростов был наводнен офицерами, хлынувшими сюда как в некое убежище, большинство из них фланировало по главным улицам с дамами, сидели в кафе, щеголяли в новеньких френчах и поглядывали на нас, марширующих с песней, одни – виновато, другие снисходительно. Мол, в солдатиков играете, не навоевались еще... Все они чего-то ждали, верили в скорые перемены, которые произойдут сами собой, без их участия. Ну а мы платили им презрением и не козыряли при встрече.

Когда мы впервые вышли на главную улицу Ростова – Большую Садовую (местные большевики поспешили переименовать ее во Фридриха Энгельса), нас вел сам командир батальона – полковник Василий Симоновский. Все знали, что он лично водил на немецкие пулеметы свой полк, что он самый что ни на есть подлинный георгиевский герой. И это поднимало дух, распрямлялись плечи, вскидывались подбородки... Как всегда, на нас недоуменно глазели, такого еще не видели – маршируют солдаты с штаб-офицерскими и даже полковничьими погонами! Без всяких команд мы как один печатали четкий громкий шаг, а потом запевали высоко и звонко «Белую акацию», своего рода гимн добровольцев. Это был вызов всем здешним обывателям, которые надеялись отсидеться, спасти свои шкуры и капиталы.

Ловили взгляды – удивленные, насмешливые, испуганные, виноватые... Даже казаки, у которых во время наших тренировочных походов приходилось останавливаться на ночлег,

недоуменно поглядывали на нас – мол, что это за странное воинство, состоящее из одних офицеров. Такого они еще не видели и осторожно интересовались:

- Это маневры у вас такие али как?
- Али так! – отвечал Павел, набивая трубку табаком. – Донскую землю оборонять будем.
- От турков?
- От турок уже оборонили. Теперь хуже турок идут – красные большаки.
- Мудрено больно, язви ты в маковку! Немцы, турки – все понятно. А энти откуда взялись?
- Сами завелись. В тылу. Пока мы с немцами да турками воевали, в это время всякие адвокатишки да присяжные заседатели власть к рукам прибрали.
- Во как! Видать, не доглядели...
- Не доглядели, батя...

* * *

Каждое утро начиналось с сигнала трубача – «подъем». Всккивали со своих нар и бежали делать зарядку, умываться холодной водой. Затем, одевшись, становились на молитву, после чего строем шли на завтрак. Все, как в обычном линейном полку... Кормили не ахти, хотя город Ростов отнюдь не голодал, витрины магазинов, прилавки базаров были завалены всевозможной снедью. После крепкого чая с бутербродом (иногда даже с маслом) шли на плац. Командир батальона встречал нас здравицей, мы хором отвечали «здражла». После чего взводы расходились на занятия. Конечно, изучать устройство трехлинейной винтовки или премудрости строевой науки было более чем скучно, большинство из нас обладали реальным фронтовым опытом. Но мы это делали чисто ритуально, чтобы следовать армейскому распорядку дня. Очень скоро мы заменили служебную рутину тем, что каждый из нас стал делиться своими знаниями и навыками, полученными в боевой обстановке. Это был весьма полезный семинар – особенно для тех, кто надел погоны впервые.

В батальон приносили газеты, и мы с тревогой читали о продвижении большевиков к исконным казачьим землям. Однажды на утреннее построение к нам пришел генерал Корнилов. Невысокий, крутоскулый этот человек излучал мощную энергию духа. Он оглядел строй, и каждому показалось, что он заглянул в глаза, в душу именно ему. Глуховатый голос генерала слушали в глубочайшей тишине:

– Господа офицеры! Господа добровольцы! Нас всех собрала сюда общая беда, беда всех русских людей, которые оказались под владычеством подлых политиков, забывших, а может быть никогда и не знавших таких понятий, как Родина, честь, совесть. Нас немного, чуть больше пехотного полка. Но это особая воинская часть, которая поведет за собой тех, кто стоит сегодня на распутье, тех, кто пал духом и не видит своего места в общей беде, в общей борьбе. Я верю в каждого из вас, потому что каждый, кто стоит на этом плацу, сделал свой нелегкий выбор – положить жизнь за Россию.

Благодарю вас за то, что вы сегодня здесь!

Генерал Корнилов мог бы провести мобилизацию: ведь в Ростове на отдыхе находились почти 16 тысяч офицеров. Но никого насильно призывать он не стал. Ему нужны были добровольцы, ибо каждый из них стоил троих мобилизованных.

Ростов-на-Дону. Февраль 1918 года

Первые бои начались в Батайске. Красные части обложили Ростов со всех сторон. В город отошел последний заслон капитана Чернова, теснимый войсками красного полководца

Сиверса. Оставался узенький коридорчик, через который генерал Корнилов и повел Добармию в поход. Мы были первыми во всей России, кто отважился стать на пути большевиков пусть слабой пока, но военной силой.

А большевики подступали к Ростову. На всякий случай дали несколько артиллерийских залпов по городу – на страх обывателям. Ну, вот и дождались гостей, всё не верили, всё надеялись на «само собой», всё на добровольцев с усмешкой поглядывали.

Били артиллерийскими гранатами по казармам нашей бывшей бригады. Мы покинули их всего три месяца назад. И вот снова здесь. Оставляем Ростов, уходим в степи. Надо успеть отобрать из своих вещей все самое необходимое. В цейхгаузе – толкотня. Добровольцы перетряхивают свои чемоданы, вещмешки, баулы... Каждый ломает голову – что взять? А по крышам барабанят горячие осколки. Скорее, скорее...

Я стою над своим распахнутым чемоданом. Боже, сколько дорогих мне памятных вещей! Что выбрать? Ведь не потащишь же за собой чемодан. Воин не должен быть обременен ничем, кроме оружия.

Все три года старый кожаный чемодан честно странствовал за мной в обозах. На фронте это больше, чем багаж. Это кусочек родного дома. Распахиваешь крышку, и будто дверь под отцовский кров приоткрыл: вот теплые носки из верблюжьей шерсти – их связала бабушка для промозглых питерских зим. Вот замшевый альбомчик для визит-портретов. В нем фотографии самых милых для меня лиц. Прячу его за пазуху шинели.

Снова лопнула рядом граната, и стены цейхгауза заходили ходуном.

– Господа офицеры! – кричит ротный. – Берем только самое необходимое... Поспешайте!

А пачка писем от Тани? Она перевязана лентой из ее косы. Неужто оставить здесь, большевикам на глумление? Рассовываю письма по карманам.

А походный дневник? Вся турецкая кампания в нем, это же живая память! Его куда? А батистовая «утирочка», подарок черноокой жалмерки из немецкого хутора Форштадт под Баку? Если б не она, я так бы и не знал мужского ночного счастья.

Немецкая машинка для набивки папирос – подарок отцу, добытый в турецком блиндаже, – шут с ней. А вот пару серебряных шпор – жалко.

– Быстрее, господа! Поторапливайтесь!

Павел вертит в руках боевой трофей – старинное курдское оружие с серебряной насечкой. Не отстреливаться же из него от красных?

Вздыхнул, размахнулся и вдребезги разбил дорогой приклад об пол.

Я стою над чемоданом... В любую минуту жизнь моя может оборваться... И тогда все эти вещи обратятся для других в хлам. Уж лучше я своей рукой... Вытаскиваю чемодан на плац. Там уже вовсю пылают костер из персидских ковров, парадных мундиров, писем, книг... Швыряю туда и свои реликвии. Летят Танины письма, нотный блокнот, дневник...

Я сжигаю мост между прошлой жизнью и своим туманным будущим. Карманы нужны для нагана, запасных обоев, перевязочного пакета. В вещь-мешок набиваю комплект египетского белья, теплые носки... По канату, протянутому в новую жизнь, надо пройти налегке.

Однако пройти налегке не удалось. Война русских против русских оказалась намного труднее и беспощаднее, чем бои с турками. Кавказский фронт казался теперь всего-навсего большими маневрами.

В ночь на 9 февраля в донскую зимнюю степь вышли добровольцы – три тысячи штыков – все, что осталось от великой России. Впереди строя шагал генерал Корнилов с солдатским мешком за плечами. За ним брели куцые воинские колонны, где офицеры шли вперемежку со студентами, юнкерами, гимназистами... Кто в шинели, кто в гражданском пальто, кто в сапогах, кто в рваных валенках.

С начала формирования в Добармию записались 6 тысяч человек. Из Ростова выступила менее половины. Остальные либо погибли в боях, либо лежали в лазаретах и частных домах –

больные и раненые, а кто-то просто затерялся в круговерти событий. Шли казаки – донцы, кубанцы, терцы с белыми лентами на папахах... Отдельно шагал чехословацкий инженерный батальон... За ним месили мокрый чернозем моряки в черных шинелях и бушлатах. Казалось, вся Россия прислала сюда своих лучших сынов. Увы, не столь многочисленных для одоления врага.

Вязли в снегу городские дамы, цепляясь за набитые повозки, шли сестры милосердия, склонив головы, шествовали монахи, брели старики – люди спасались от большевистского произвола.

На бричке ехал престарелый генерал Алексеев, везя в чемоданчике – армейскую казну. Рядом с ним сидели закутанные в материнские платки и шали малолетние дети.

Мы с Пашей шагали в первых рядах своей колонны, которую вел красавец подполковник Симоновский, сбросив назло пурге с фуражки кабардинский башлык. Мы гордились своим командиром. Это был настоящий георгиевский герой, который прославился своей лихой атакой под Станиславом. Командуя пехотным Кинбурнским полком, Симоновский лично повел солдат на врага. Воодушевленные тем, что с ними в цепи командир полка, кинбурнцы под жесточайшим ружейно-пулеметным огнем, под ударами вражеской артиллерии прорвали 15 полос колючей проволоки и захватили шесть линий траншей. Обо всем этом мы узнали из газеты «Русский инвалид», которую случайно нашли на кухне в корзине для растопки печи.

Поручик, служивший в том самом 467-м Кинбурнском полку, дополнил газетный очерк своим рассказом:

– Под Калушем Василию Лавровичу осколок раздробил скулу, лицо было залито кровью, он передал командование своему заместителю, но из полка не ушел. Сами понимаете, на солдат и офицеров это подействовало ободряюще – с нами командир! А с ним и черт не страшен.

Вот уж точно: кому суждено быть повешенному, не утонет. Симоновскому суждена была смерть не от пули или осколка, может быть, предчувствуя это, он смело шагал под свинцовые ливни. Его растерзала толпа махновцев в родном городе Орлике, что на Южном Буге. Растерзала только за то, что Симоновский был полковником царской армии. Ему исполнилось всего 48 лет.

А пока, глядя на его молодежавшую фигуру, мы готовы были идти за ним в огонь и в воду... Ладно в воду, в лед пошли, ледяной покрывшись коркой.

После проливного дождя, промочившего нас до нательных рубаш, вдруг ударили 20-градусные морозы. Шинели враз обледенели, задубели, захрустели... Башлыки, фуражки, шапки, папахи – все промерзло насквозь. Ничего не грело, только вытягивало из тела последнее тепло. Еще и ветер поднялся, нагоняя стужу. Ох, все ли дойдут до большого привала? Вся надежда была на станицу Ольгинскую, через которую пролегала наша дорога, бывший Задонский почтовый тракт. И всего двадцать верст до спасения, но попробуй, прошагай их на морозном ветру в мокрой одежде.

Я поднял воротник шинели и подтянул его револьверным шнуром, винтовка была показачьи заброшена на правое плечо, поэтому мог руки греть в карманах. Но фуражка моя, покрытая инеем, тепла на продувном ветру не держала. Оставалось утешаться суворовским правилом – «голову держи в холоде, ноги в тепле». Но ни голова, ни ноги тепла не чувляли. Вдруг кто-то сорвал с меня фуражку – и в тот же миг голова погрузилась во что-то мягкое и блаженно теплое – папаху! Паша снял с себя свою косматую терскую папаху и надел на меня, а фуражку надел на себя.

– Махнемся не глядя! – усмехнулся он. – У меня башлык есть.

И он, нахлобучив на себя мою промерзшую «фураньку», закутал голову башлыком, купленным по случаю, как и папаху, на барахолке в Темернике. Как я ему был благодарен за эту дружескую заботу!

Я шел и думал: нас изгоняли с нашей земли, более того, заведомо решили лишить нас жизни. За что? За то, что мы не поклоняемся их бородатым идолам? За то, что не ведемся на их призывы уничтожать храмы, сбрасывать колокола, плевать на алтари? За то, что носили погоны своей страны? За то, что проливали кровь не за мировой пролетариат, а за Россию? И вот за это они нам вынесли смертные приговоры? И вот за это они гонят нас со своей земли?

Мысли эти рождали обиду, горевшую гневом, заставляли крепче сжимать в руках оружие и тверже шагать в строю.

На всех бескрайних просторах России оставалось единственное место, где развевался трехцветный национальный флаг, – степь, по которой шли добровольцы, первопоходники. На одном из коротких привалов к нам подошел генерал Деникин, обнял Симоновского, обратился к нам, замерзшим, но все еще бодрым:

– Пока есть жизнь, пока есть силы, не всё потеряно... Стратегия у нас простая – пройти через спящие станицы, а там услышат наш голос, зовущий к борьбе, да и проснутся. Вот увидите, за нами еще пойдут...

* * *

В Ростове остались снаряды, патроны, обмундирование, медицинские склады и медицинский персонал – всё то, в чём так остро нуждалась наша малочисленная армия, охранявшая подступы к городу. О, если бы нас поддержали донцы или хотя бы то «кофейное воинство», что скрылось теперь в подполье!

Мы все же дошли до заветной станицы. Ольгинская стала первым военным станом Добровольческой армии. Здесь собирались силы, рассеявшиеся после падения Дона. Подошел отряд генерал-майора Маркова, которому удалось пробиться мимо занятого красными Батайска. Присоединились несколько казачьих сотен. Догнали нас и те самые офицеры, что посиживали в кофейнях, пока мы готовились к бою. Далеко не все, правда, а только те, кто не поверил в милосердие большевиков. Из Новочеркасска подтянулись люди. Обозы подошли. Всего собралось свыше четырех тысячи бойцов.

Генерал Корнилов строил из этого разнородного материала единую боевую силу. Прежде всего он сводил мелкие отряды в батальоны и полки. Первыми, положившими начало легендарным добровольческим дивизиям, стали марковский офицерский полк, корниловский ударный полк полковника Неженцева, Партизанский полк (из пеших донцов) генерала Богаевского, Юнкерский батальон, сведенный из Юнкерского и Студенческого «полков» под началом генерала Боровского, наконец, Чехословацкий инженерный батальон да три дивизиона кавалерии (один – из бывших партизан Чернецова, другой – из прочих донских отрядов, третий конный дивизион – офицерский). Огромному обозу беженцев было приказано оставить армию.

В окончательном виде Добрармия выстроилась так:

Корниловский ударный полк. (Подполковник Неженцев.)

Георгиевский полк – из небольшого офицерского кадра, прибывшего из Киева. (Полковник Кириенко.)

1-й, 2-й, 3-й офицерские батальоны – из офицеров, собравшихся в Новочеркасске и Ростове. (Полковник Кутепов, подполковники Борисов и полковник Симановский.)

Юнкерский батальон – главным образом из юнкеров столичных училищ и кадет. (Штабс-капитан Парфёнов.)

Ростовский добровольческий полк – из учащейся молодежи Ростова. (Генерал-майор Боровский.)

Два кавалерийских дивизиона. (Полковники Гершельман и Глазенап.)

Две артиллерийские батареи – преимущественно из юнкеров артиллерийских училищ и офицеров. (Подполковники Миончинский и Ерогин.)

Целый ряд небольших частей, как то: «морская рота» (капитан 2-го ранга Потёмкин), инженерная рота, чехословацкий инженерный батальон, дивизион смерти Кавказской дивизии (полковник Ширяев) и несколько партизанских отрядов.

Называю эти части и их командиров специально для потомков, которые, хочется верить, выбьют золотом эти наименования и эти фамилии на черных скрижалях нашей истории.

Все это мы узнали много позже, а пока отогревались в курене зажиточного казака, который держал в Ольгинской маслобойню.

– И куды вы в такую стужу валите? – допытывался у нас хозяин куреня – сорокалетний дядя в меховой безрукавке и суконных чириках. До войны он служил в Атаманском полку. О чем свидетельствовал деревянный сундук для казачьей sprawy, оббитый узорчатым железом с полковым знаком на крышке. В знак уважения к нашим подьесаульским погонам он выставил бутылъ самогона, хозяйка, кутаясь в цветастый платок, по-быстрому накрыла скромный стол. Главным блюдом были рвантушки – клецки, сделанные из теста, нарванного руками. Горячие рвантушки были обильно политы подсолнечным маслом и заставляли голодных гостей жадно принохиваться.

– И куды ж вы такой колотун пойдете-то? – повторил свой вопрос атаманец.

– Скорее всего, на Кубань пойдём, – отвечал командир нашего взвода подполковник Бондаренко. – Там народ на подъем легкий, не то что донцы.

– А что, донцы не пошли?

– Донцы сказали, что дальше своих границ не пойдут. Свои станицы сами оборонять будут. Авось, красные от них отвязутся.

– Раз пришли, значит, пока своего не добьются – не отступятся, – мудро рассудил казак. – Вот у нас так же гуторят: за Дон прогоним, а там Москва с ними сама разбирается. А они уж и Новочеркасск взяли, и Ростов-батюшку... Сила солому ломит. Надо всем миром навалиться.

– Вот о том и речь! – вступил в разговор Павел после хорошо глотка свекольного первача. – Я вам лучше стихи свои прочту. Пока шли, строчки сами сложились.

Мы снова в седлах,
Ноги в стремях.
Отсиживаться подло
В лихие времена...

Павел читал, а я уронил налитую сном и хмелем голову на руки и тут же уснул...

* * *

Все наши полки, батальоны, дивизионы были по существу только зачатками формирования. Все они были раз в пять меньше, чем положено по штату. Но приходилось одновременно и формироваться и сражаться, неся потери и теряя то, что уже сколочено, собрано в боевую единицу. Но именно так, в боях и невзгодах, выковывалась Белая армия.

Впереди была станица Хомутовская, за ней Кагальницкая, Егорлыцкая... Так начинался наш терновый путь – первопоходников. Мы проложили его для других. К лету 1918 года вся честная и отважная Россия поднялась против большевиков. Запыхало от Самары до Урала, от Архангельска до Кавказа... Россия вставала на смертный бой против возвращенного на родных нивах врага.

* * *

Шел третий год самой мерзостной войны, в которой когда-либо участвовала Россия, – кровавой гражданской усьобицы... И был бой... Бой под станцией Касторной, который стоил, наверное, всей битвы за Сарыкамыш. Наша офицерская полурота, сильно поредевшая и изнуренная после жарких боев, отошла на станцию Кресты. Почти без сил все повалились на пол полуразбитого вокзальчика. А мы с Пашей улеглись на шинелях прямо на перроне в тени огромного вяза, чудом уцелевшего в артиллерийских дуэлях. Лежа на спине, я смотрел сквозь зеленую крону на небо и прощался с ним. Второго такого боя не выдержу... Не было сил даже согнать муху, ползавшую по мокрому лбу... Чтобы уйти от унылой действительности, стал сочинять стихотворение. Строчки складывались сами собой.

Жадно спит, изнуренная боем
Сотня белых отпетых бойцов...

Вдруг кто-то позвал меня по имени:

– Коля!

Я повернул голову и увидел отцовского односума Нестора Григорьевича Весёлкина! Он стоял на перроне, подбоченясь, как полагается настоящему казаку – с нагайкой за голенищем хорошо начищенного сапога. А на плечах у него были беззвездные полковничьи погоны. Я вскочил, мы обнялись.

– Здорово, Микола! А я совсем потерял тебя из виду! Вот батька обрадуется!

– А где он?

– Дома, в Гродно. Получил от него письмо месяц назад... Хвораёт... Ну, да что мы тут стоим, давай к нам!

Павел тоже поднялся, отряхивая шинель. И мы двинулись в гости – на бронепоезд «Белый воин», которым командовал полковник Весёлкин. Вооруженный состав стоял на запасной ветке под сенью густых ив: две бронеплощадки, между ними жилой пульмановский вагон, паровоз и две платформы с запасными рельсами и шпалами – спереди и сзади. Я еще не пришел в себя от нашей встречи, а судьба уже закрутила новый круг:

– Давайте к нам! – предложил Весёлкин. – Нам пулеметчики вот как нужны.

– А в роте нас не посчитают дезертирами? – спросил Паша.

– С вашим ротным я сам договарюсь. Отпустит. Ему чем меньше бойцов, тем быстрее отправят в тыл на переформирование.

С тем нас и зачислили в команду «Белого воина».

Глава третья. На черной «щучке»

Март-апрель 1919 года

Весёлкин договорился с нашим начальством. Мы забрали свои вещмешки и тепло попрощались с боевыми товарищами.

– Ну, лафа вам выпала, – завидовал взводный штабс-капитан. – На колесах ездить – это не сапогами грязь месить.

Кто бы спорил...

В тот же день полковник Весёлкин представил нас офицерам бронепоезда. Их было шестеро – старший офицер Муромцев, два командира бронеплощадок, офицер-механик, доктор и сам командир.

Прежде всего определили наши боевые посты. Мы должны были прикрывать паровоз с тендера: я – правый борт, Паша – левый. Для этого там уже по углам тендера были установлены ручные пулеметы Гочкиса. Они легко перебрасывались с одного борта на другой, что позволяло вести усиленный огонь по атакующей пехоте. Машинист Савельич и инженер-поручик Пермяков с радостью приняли «пассажиров», которые будут прикрывать локомотив в бою и охранять на стоянках.

Затем нам показали наши места в пульмане. Я не мог поверить своим глазам: теперь у нас у каждого будет своя полка, а на ней постель с подушкой и бельем. После наших пехотных скитаний, после наших ночлегов где придется и как придется, мы обретали в этом взбулгаченном мире некую точку опоры и защиты. Боже, у меня снова есть кров, ложе и место за столом! На задней платформе стояла полевая кухня, обложенная мешками с песком. Поездной кашевар готовил преотменно даже из того немногого, что попадало в котел. Мне очень понравилось, что команда бронепоезда, небольшая, меньше полуроты, была дружна и все готовы были постоять друг за друга. Если выпадал час и все собирались в жилом вагоне, подполковник Муромцев доставал гитару, упакованную в снарядный ящик, и пел нам романсы или просто перебирал струны, наслаждаясь их звучанием.

* * *

Бронепоезд двигала черная «Щука». Черная – значит не покрытая броней, а «Щуками» называлась вся серия «Щ» – по имени конструктора Щукина. Не знаю, на сколько был хорош сей локомотив, но Савельич, наш машинист, все время ворчал, что машина очень прожорлива и что огневая коробка слаба, да и колосники могли бы быть побольше. Мы и сами видели, как нелепо была устроена, например, система смазки бегунковой тележки, той, что катилась на небольших колесах впереди локомотива. Масло приходилось заливать, лежа под паровозом на спине, оно, конечно же, проливалось на смазчика. Заниматься этим делом охотников было мало, чаще всего под бегунок приходилось лезть помощнику машиниста. И делать это надо было всенепременно, так как плохо смазанная тележка могла заклинить на крутых поворотах, и тогда паровоз свалился бы с рельсов.

Несмотря на все эти недостатки, мы любили нашу безотказную железную «Щуку». Ведь именно она давала жизнь и энергию всему бронепоезду.

В тендере было веселее, чем в жилом вагоне. Виды сверху открывались просторнее. В дождь накрывались брезентом и лезли в «шалаш» – так называли мы укрытие, сложенное из сосновых поленьев. Дно тендера было засыпано углем – резерв на случай быстрого хода, – а для повседневных передвижений пользовались дровами. Дрова принимали мы с Пашей вместе с бойцами из прикрытия. Поэтому и соорудили себе «шалаш», в котором можно было даже

покемарить при случае, наслаждаясь мерным покачиванием, а главное, смолистым ароматом сосновой древесины.

К задним углам тендера были приварены бронешитки с прорезями для пулеметных стволов и контейнеры для поддержания оружия. Но в бою шитки закрывали от пуль только условно. Поэтому пулеметчики выбывали из строя первыми. Зато нас привечала локомотивная бригада, и Савельич всегда приглашал нас на чай. Черный от копоти чайник цеплялся на кончик лома и отправлялся в топку. Через пять минут вода вскипала и приобретала особый очень приятный вкус. Пили дутком, как говаривал машинист, то есть без ничего, подувая на горячий взвар. Савельич всегда добавлял в чайник сухие травы по своему безошибочному выбору. Право, все это было лучше, чем в пехоте. Но ведь не все коту масленица...

* * *

Ну, вот и нам досталось по первое число.

Действовавший совместно с частями 5-го конного корпуса легкий бронепоезд «Белый воин» двинулся на рассвете 8 сентября с узловой станции Бахмач в северном направлении. Бронепоезду удалось дойти без боя до станции Дочь, примерно в 20 верстах к северу от Бахмача, между тем как блиндированный поезд «Полковник Гаевский» и тяжелый бронепоезд «Князь Пожарский» находились в нескольких верстах позади. Между станцией Дочь и следующей станцией Бондаревка бронепоезд «Белый воин» вступил в бой с двигавшимся навстречу бронепоездом красных. После короткой перестрелки неприятельский бронепоезд, по-видимому, подбитый, начал отходить. Наш «Белый воин» преследовал противника, не дожидаясь подхода остальных наших бронепоездов. За станцией Бондаревка с уходившего неприятельского бронепоезда стали сбрасывать бревна на рельсы. Затем бронепоезд красных остановился и изготовился к прицельной стрельбе. Мы же, продолжая обстреливать противника, подошли к завалу на пути и остановились. До противника оставалось меньше 100 саженей. Не ожидая подвоха, наши бойцы спустились на полотно и стали сбрасывать бревна. В это время из-за поворота двухколейной железной дороги внезапно появился другой бронепоезд красных под названием «Советская Россия», сильно вооруженный. Он открыл огонь почти в упор из двух 42-линейных орудий. Первый же снаряд попал в орудийную башню головной бронеплощадки нашего бронепоезда. Погибла почти вся ее прислуга, и мы лишились возможности стрелять вперед, то есть вести дуэльную стрельбу. Следующий большевистский снаряд сорвал командирскую башенку, в которой находился старший офицер бронепоезда капитан Муромцев. Обезглавленное тело капитана рухнуло на стальной пол площадки. Еще один вражеский снаряд попал в сухопарник паровоза. Машинист погиб мгновенно, а ошпаренный перегретым паром офицер-механик был выброшен взрывом из будки. Паровоз окутался клубами горячего пара и дыма. Даже мы, пулеметная команда на тендере, оказались в горячем облаке, от которого спасались тем, что закрыли лица лапами шинели.

Противник продолжал яростный обстрел. «Белый воин» лишился возможности не только отвечать огнем на огонь, но и отойти. Положение наше ухудшалось с каждой минутой. Примерно в двух верстах показалась конница красных, рассыпавшаяся в лаву. Это только в Гражданскую войну кавалерия могла атаковать бронепоезд вопреки всем канонам военной науки. Полковник Весёлкин принял единственно верное решение: оставить искореженные бронеплощадки и уходить под прикрытие стоявшего в двух верстах от нас блиндированного поезда «Полковник Гаевский». Было бы у нас радио, мы бы вызвали его на подмогу. Но радиостанции у нас не было, как не было ее и на «Полковнике Гаевском».

– Прикройте отход! – крикнул он нам на тендер, и мы с Пашей ударили в два пулеметных ствола, в две ленты по наступавшей коннице. Лава разошлась на три части и сбила темп. Оглянувшись посмотреть, далеко ли ушли наши, я увидел, как командир машет нам рукой – он

звал нас за собой. Мы спрыгнули с тендера и под свист осколков вражеских снарядов бросились вдогонку. Но артиллеристы «Советской России» увлеченно добивали обреченный «Белый воин». Дым, смешанный с паром, поднимался до облаков...

Заметив отход команды, красные перенесли огонь на нас. Снова стали падать убитые, корчиться раненые. Раненых мы подхватывали за руки, за ноги и оттаскивали подальше с глаз противника – в кусты и овражки. Через две версты нашего жестокого марша мы вышли наконец к блиндированному поезду «Полковник Гаевский». Конечно, мешки с песком на платформах плохо заменяли броню, да и паровоз у них был «черным», как наша «Щука», но все же его трехдюймовки могли отвечать врагу полновесным залпом. Нас приняли по-братски: раненых тут же перевязали, а нас разместили в жилом вагоне. Красные не рискнули идти дальше, да и не просто им это было сделать: наш «Белый воин» даже бездыханный преграждал им путь. Мы же двинулись на Бахмач, подсчитывая тем временем наши потери. У нас были убиты старший офицер капитан Муромцев и пятеро нижних чинов, ранены два офицера и шесть нижних чинов. Разбитый боевой состав остался у красных. Однако через день белые войска заняли станцию Бондаревка, и мы снова смогли занять наш «Белый воин». Несмотря на сильные повреждения передней бронеплощадки и паровоза, «Полковник Гаевский» смог оттащить «Белый воин» на станцию Прилуки, где ремонтники всерьез занялись нашей «Щукой» и нашей артиллерией. Тело же капитана Муромцева, уже погребенное местными селянами, было изъято из могилы, уложено в сосновый гроб и отправлено в Севастополь, на родину капитана. Там оно было предано земле на братском кладбище 13-й артиллерийской бригады. Мы же после первичного ремонта своим ходом ушли в Харьков, где нас поставили в местное депо на основательную починку. Команду пополнили тремя офицерами и пятью нижними чинами. Старшим офицером назначили Пашу. Меня же определили в командиры новой передней площадки. Через десять дней харьковских «каникул» мы снова пошли на боевые позиции...

Март 1919 года

В последнем крупном сражении на донской земле – под станицей Егорлыкской – добровольцы потерпели поражение и начали отступление на Кубань и к Черному морю...

Наш бронепоезд прикрывал этот катастрофический отход.

Голодная смерть, наверное, хуже, чем мгновенная смерть от пули. Мы голодали. Вторую неделю не подвозили никакого продовольствия. Высылали продовольственные патрули по окрестным деревням, но крестьяне давно уже были ограблены и красными, и белыми. Патрули возвращались ни с чем.

Мы стояли на забытом Богом полустанке вторую неделю. Начинаясь март, как говорила моя павловская бабушка, март-марток, надевай семь порток. Зима не унималась. У нас же не было ни угля, ни дров, чтобы сдвинуть состав с места. Савельич поддерживал в топке минимальный огонь, чтобы не разморозить водогрейные трубки. Жгли все, что могло гореть, – забор станционного палисадника, скамьи, ветхое тряпье, пропитанное мазутом, пилили старые шпалы... Никогда в жизни я не испытывал таких мук пустого желудка. Его сводило конвульсиями, скручивало, сжимало... Впору было корчиться, как от пули в живот. А полевую кухню с задней площадки красноармейцы забрали в качестве трофея после боя под Бондаревкой. Варили все, что могли раздобыть, в котелках над кострами. Костры жгли прямо тут же – на путях.

А тут прибил к нашему табору на колесах раненный в шею сотник. Он приехал на коне и быстро понял смысл наших беглых взглядов на его маштачка.

– Ребята, – взмолился казак, – берите моего коня да поезжайте в станицу Старорощинскую. Это не более пяти верст отсюда. Там мой кум-атаман Дуженко, скажите от меня, мол, голодаем, он с провиантом поможет. На коне и привезете. А то и сани даст.

Весёлкин принял сообщение к сведению и тут же отрядил нас с Павлом к хлебосольному атаману. Сотник вручил нам поводья своего коня и вывел на большак.

– Прямо на восток держите, никуда не сворачивайте. Через пять верст за пригорком услышите, как собаки брешут. Тут и станица.

Затянув пояса потуже, мы двинулись в указанном направлении. Ехали по очереди – один в седле, другой за стремя держится, так и прошли, наверное, половину пути, опасаясь только одного – нарваться на красный разъезд. Но нас поджидала другая невзгода.

Вдруг задуло, замолодило, застудило. Пурга обрушилась с мрачной решимостью оцепенить все живое, засыпать снегом все и вся без слабой надежды на таяние и ледоходы. В один час завывало-замело по всей бескрайней степи. И где там тот большак? И где тот пригорок, за которым собаки брешут? Хоть клади коня в снег да рядом ложись, пока заряд не пройдет...

Зимой степь еще просторнее, чем летом: белая скатерть земли сливается с белой завесой неба. Редко-редко сквозь снег пробивались будыльки полыни. А больше и не было никаких примет: куда идти, где искать? Шли по наитию коня. Его чутье должно было привести к жилью.

Конь и привел нас сквозь белую замять к жилью. Жильем оказалась одинокая калмыцкая юрта. Но и она радовала глаз посреди белой стужи.

Ввалились. В юрте пахло кизячным дымком и вареным мясом. Хозяйка – калмычка средних лет – ничуть не удивилась нашему появлению. А может, удивилась, да не показала вполуха, ее круглое лицо с косыми щелками глаз было озабочено только тем, что варилось в казане над очагом. Молча она подала нам по пиале горячего чая с молоком. Мы, также молча, медленно оттаивали. Я четко понял: счастье имеет форму пиалы и запах чая с молоком. На глазах калмычки происходило земное чудо: воскрешение из замерзших.

И тут я увидел того, кому были обязаны своим чудотворным спасением. На низеньком комодке, где было устроено небольшое домашнее святилище, стоял образ Николая Мирликийского. Рядом с медными статуэтками буддистских божеств золотилась иконка-пядница Николы Чудотворца! Сила и слава этого святого была такова, что его почитали даже калмыки-ламаисты! Кто бы мог подумать, что «Микола-бурхан» был включён ламами в пантеон духов-хозяев Каспийского моря и особо почитался калмыками как покровитель рыбаков. Во всяком случае, я немало порадовался такому открытию и тут же прочитал акафист своему ангелу.

Наша хозяйка, судя по всему, относилась к племени бузавов – донских калмыков, которых принял в казачество еще Степан Разин. Бузавы отличаются от других калмыцких племен и одеждой, и песнями, и танцами. Все они ламаисты, хотя немецкие колонисты и пытались обратить их в лютеранство, но они упорно поклонялись Будде и местным духам.

* * *

Ветер разбушевался не на шутку. Юрту шатало, и казалось, вот еще один порыв, и ее унесет, как шапку с зазевавшегося путника. Один раз хватануло так, что юрту едва не сорвало с земли. Мы вылезли и прикололи подол юрты шомполами, вынутыми из винтовок и отомкнутыми штыками. Правда, острая сталь никак не хотела входить в промерзшую землю. Пришлось раскалить шомпола на угольях, тогда все получилось.

Выпили еще по пиале калмыцкого чая, а потом свалились на кошму, не снимая шинелей, закутавши головы в башлыки. Спали мертвецким сном.

Ночью голодные волки задрали коня на коновязи. Хоть и чужой конь, а жалко. Отдали мясо калмычке, предварительно нарубив его шашками. Хозяйка тут же побросала куски в котел. Поблагодарила Будду за щедрый дар, а потом вручила нам по горячему мослу вареной конины.

– Как зовут-то тебя, хозяйюшка? – спросил Паша.

– Заяна.

- А что оно означает?
- Судьба.
- Ну, для нас ты точно – судьба. Хорошая судьбинка.
- К полудню стихло, и Заяна вывела нас на дорогу, ведущую к станице.

* * *

Атамана мы нашли у себя в курене. Грузный седоватый мужчина с есаульскими погонами на трапезной гимнастерке обедал вместе с двумя станичными, видимо, сотниками, живыми казаками средних лет. От запаха жареной баранины у нас с голодухи закружились головы, мы переглянулись с Павлом и жадно сглотнули слюну.

– Здорово дневали, казаки! – снял папаху Павел и перекрестился на образ донской Божией Матери, осенявший красный угол.

– Слава Богу! – степенно отвечал атаман, изучая нас вполприщура. От него не укрылась голодная судорога, пробежавшая по нашим лицам.

– Милости прошу, казаки, к нашему шалашу! Не притесняйтесь! Поищите, что Бог послал.

– Благодарствуем! – ответили мы в один голос и тут же присели к столу. Хозяин придвинул нам большое блюдо, на котором громоздились куски и мослы ароматнейшей, хорошо зажаренной баранины. Сам атаман, не отвлекаясь от еды, деловито выбивал о столешницу мозг из костей, присаливал его и отправлял в рот на кусочке хлеба. Казаки трапезничали чинно, не спеша, со вкусом, заедая горячее мясо кусками соленого арбуза. Посреди стола главенствовала зеленоватая четвертная бутылка, осушенная на треть. После полуголодной жизни на бронепоезде атаманская трапеза показалась лукулловым пиром. Дождавшись, когда мы обработали по паре мослов, атаман спросил:

– Откуда будете, ребята?

– С бронепоезда мы, – пояснил Паша с набитым ртом. – С «Белого воина».

– Ага, – кивнул атаман, как будто и в самом деле что-то знал про наш бронепоезд. Он хотел еще о чем-то спросить, но тут в дверь без стука ввалился высокий белобородый старик в серебристой – под цвет седины – папаше, крест-накрест перехлестнутый сыромятными татаурами. Атаман тут же встал, вытащил из-за голенища нагайку и бросил ее к ногам гостя, что считалось у казаков выражением особого почта. Старик подобрал нагайку и вернул ее хозяину, обняв его широкие плечи. Оба сотника поднялись со своих стульев, встали и мы.

– Ангела вам за трапезу! – сказал старик, и все, как по команде, сели.

– Угощайся, Платон Северьяныч! – Атаман придвинул старику блюдо с мясом. Но тот ни к чему не притронулся. Мяс в руках папаху.

– Значит, в отступ, казаки, собрались?! – не то спросил, не то уточнил он.

– А куды ж нам деваться? Красные фронт прорвали, Екатеринодар взяли, почитай, не сегодня завтра в станицу войдут.

– И войдут! – подтвердил Платон Северьянович, резко возвысив голос. – И войдут! И сотворят с нашими девками и бабами то, что учинили в Злокозовской. Ай не слыхал? Так расспроси Митьку Рогова. У него на глазах и жену, и дочь разложили... Вона, вырвался, прискакал – весь как лунь седой. И твою Полину разложить... Одно хорошо – не увидишь в отступе-то...

Атаман перекрестился, бросив взгляд на икону. А дед продолжал:

– Орда красная идет, хуже турков, хуже татар, хуже немцев... Погибель наша идет. А вы – в отступ...

– Можем, конечно, и сами костями лечь у родных куреней, – швырнул мосол атаман. – Как один ляжем. Ляжем – и что? Все одно станицу к рукам приберут. Нет, мы с ними еще

срубимся. Соберем силу и обратно все возьмем! – стукнул кулаком по столу атаман. – И все это комиссарье в поганом болоте утопим! Все припомним, все отплатим! Вот ты, Северьяныч, ученый человек, все знаешь. Скажи, откуда эта нечисть на нашу голову взялась? Комиссары энти, дышло им в кут!

Платон Северьянович невесело хмыкнул:

– Раньше их гавреи прозывали, теперь они все как один – комиссары. Царица Катька, дура, говорили ей умные люди, не бери Польшу, не трожь ее. Нет, взяла, как кошму с клопами, с гавреями энтими. Ну и расползлись они по всей России-матушке. Хоть им и предел был поставлен на западных кордонах. Да что им пределы? Полезли во власть – где золотом покупали, где жен своих подкладывали, и пролезли ведь до самых питерских верхов.

– А золота у них окель столько?

– У гишпанцев отобрали, когда с маврами страну их захватили. Ну и осели потом в Польше. Да короля их с потрохами купили. Уж больно разгульный король энтот был. Все прокутил. Ну и рухнула держава. Разобрали ее, как избу на части. И поползли они к нам... Эх, да что тут тары-бары разводить. Народ надо спасать! Ты, гутаришь, силы наберешь и вернешься. Ну а баб-то с девками – на поруганье им оставляешь? Они ведь никого не щадят. Ни старого, ни малого. Ну, мы свой век прожили. Я к ним первый с шашкой выйду – пусть положат. А вот кто семья-племя наше спасет? Они же казаков под корень рубят! Земля им наша нужна. Бабы им наши нужны. Вавилоном на нас идут – и китайцы у них, и мадьяры, и чехи. Кого только нет. И всем казачью кровушку расплескать надо, потому как больше всего на свете нашего брата, казака, боятся...

– Так что, Северьяныч, к чему гнешь? Чтоб баб и детей в отступ взять?

– А как некрасовцы уходили?! Всех с собой взяли. И по сию пору хоть на Туретчине, да живут, Богу молятся да песни поют.

– У некрасовцев время было. А у нас день-другой – и обчелся. Куда я с обозом попрусь? В два счета догонят да всех постреляют. Кабы транспорт какой был, можно было бы хотя бы в Новороссийск убежать. Да и туда ведь припрутся.

– С Новороссийска в Крым можно уйти. А там и к некрасовцам податься, коли нужда заставит да семья-племя тебе дорогого.

– Не поспеем... Пока соберутся, пока выступим. Красные уже в Миллерове.

Все замолчали, тяжело задумались... Атаман потянулся к бутылке, разлил водку по стаканам.

– А сколько народу у вас может пойти? – спросил вдруг Павел.

– Баб с детишками – душ с полсотни наберется, – мрачно ответил один из сотников.

– Так давайте их к нам на бронепоезд, – предложил Паша. – Мы ж сейчас в Новороссийск как раз и пойдем. Полсотни влегкую в вагоне разместим. Разместим ведь? – обернулся он ко мне.

– Да в одном жилом вагоне разместим, – подтвердил я. – Нам бы только вопрос с продовольствием решить.

И атаман, и старик усталились на нас, как на благовестных ангелов, слетевших с небес.

– Ай, и вправду возьмете?

– Чего ж не взять?! Мест навалом, – развивал свою мысль Павел. – Да и командир бронепоезда полковник Весёлкин – природный казак. Собирайте народ – да в путь. Тут до станции сами знаете – верст пять, не более. За два-три часа пройдем.

Казак переглянулись. Атаман глянул на ходики с гирями. Стрелки только-только сошли с четырех часов.

– К вечеру можем успеть!

– Надо людей созывать на большой сход, – обронил как бы для себя Платон Северьянович и водрузил на седую голову серебристую папаху.

– На чем людей повезем? – спросил сотник с рыжим чубом.

– Брички соберем по базам. Подводы... Детей посадим, поклажу положим. А бабы пехом пойдут, не запарятся, – по-деловому рассуждал атаман.

– Продовольствия надо бы побольше захватить, – напомнил я. – У нас вся команда на голодном пайке сидит. Да и в Новороссийске со съестным туго будет.

– Ну, запасы еще не проели, захватим, – пообещал атаман. – Вот сегодня, правда, последнего барана зарезали. А так, в случае чего и кониной перебьемся. Крупы да зерна наберем... Ну, орлы, смотрите, – покачал головой атаман. – На вас теперь вся надежда. Мы-то в отступ уйдем, а вы наших-то в Новороссийск доставьте. Мы их там найдем.

– Дай им пару казаков для охраны, – предложил старик. – Мало ли чего в дороге выйдет.

– Казаков дам со всей справою, – повеселел атаман. – Айда народ собирать.

Сотники сотворили крестное знамение и бросились по курням. Вскоре на майдан по зову набатного колокола повалил народ...

* * *

Куций обоз в три брички и две подводы двигался по едва подсохшей полевой дороге в сторону железнодорожной станции. Впереди верхом ехал Павел, зорко поглядывая по сторонам. Красных можно было опасаться с любого направления. И это понимали все, поэтому шли молча и быстро, даже малые дети не ревели. Женщины с младенцами – их было трое – ехали на бричках, пристроившись между узлами и прочей поклажей. И лишь одна несла своего новорожденного на руках. Я приметил ее сразу – высокая, черноволосая, с необыкновенно красивым лицом – казачья мадонна! Она упорно не хотела садиться на подводу, боясь растряссти своего малыша. На третьей версте она заметно устала, руки, конечно же, занемели. Я спешился и подошел к ней.

– Ну, что – притомилась ведь! Давай я понесу. А ты коня веди.

Молодая мать бросила на меня внимательный взгляд и промолчала.

– Руки-то дрожат, не дай бог уронишь. Нам идти еще столько, еще и полстолько. Не донесешь. Давай я понесу!

Она смерила меня еще одним изучающим взглядом и наконец протянула драгоценный сверток, завернутый в белую шаль из козьего пуха:

– Сам смотри не урони!

Я передал ей повод, она повела коня, а я понес ее ребенка, почти не ощущая тяжести невесомого, только что появившегося на свет тельца. Я никогда еще не держал на руках младенцев. И только сейчас понял, какое это чудо – росток человеческой жизни. Как легко его уничтожить – срубить шашкой или свалить выстрелом из нагана. Как трудно взрастить...

– Как мальчика-то зовут?

– Иваном крестили.

– А тебя?

– А я Ульяна.

– А муж где?

– А мужа под Батайском убили.

– Царство ему небесное!

Мы шли рядом, но молча, боясь разбудить уснувшего ребенка. Мальчонка корчил во сне смешные рожицы, причмокивал губешками – видимо, ему снилось что-то сладкое и забавное.

Впереди и позади безотрадно шагали беженцы. Это был самый настоящий исход народа, отличавшийся от библейских времен разве что тем, что у казаков за спинами были винтовки, а не луки. В остальном все так же беспощадно пекло весеннее солнце, вместо пустыни стелилась оттаявшая степь, повизгивали несмазанные колеса бричек да фыркали кони. И как во времена

царя Ирода, висел над нами дамоклов меч скорой и беспощадной расправы. Я поглядывал на горделивую красавицу и понимал: не было ей иного пути – останься она в станице, уж точно не убереглась бы от рук озверевшей от победной вседозволенности солдатни.

Глава четвертая. Великий отступ

Наш обоз из заляпанных грязью бричек и подвод, доверху загруженных узлами, баулами, сумами, а главное – мешками с продовольствием – пшеном, кукурузным зерном, картофелем, бураками... прибыл на станцию поздним вечером. Командир бронепоезда без особой радости выслушал нас, вник в ситуацию и дал распоряжение разместить всех женщин и детей в пульмане. Коней завели на платформу, обложенную мешками с песком, – там, где стояла когда-то полевая кухня, и оба казака-проводящих взялись опекать их в пути. Ульяну с ребенком я провел на свое место и устроил ее на нижнюю полку со всем возможным в условиях бронепоезда комфортом: принес котелок с кипяченой водой, разорванную на подгузники простынь. Женщина благодарно взяла меня за руку:

- За кого Бога молить?
- Моли за раба Божия Николая.
- Спаси ты Христос!
- погоди, сейчас каши принесу! Голодная ведь?
- Ну, принеси! – впервые улыбнулась она.

Над костром висел полевой котел, а на углях стоял чугунный казан, добытый где-то старым казачьим способом.

Кашевар наш, радостный от того, что ему снова нашлась привычная работа, ухнул мне в котелок пару черпаков разварной гречки, от души сдобрив ее кукурузным маслом. Я принес ужин в жилой вагон, прихватив по пути и чайник с отваром шиповника вместо заварки. И снова заслужил благодарный взгляд и нежное рукопожатие. Я надеялся провести рядом с Ульяной всю ночь, но полковник Весёлкин приказал всем членам команды занять боевые посты. Бронепоезд шел по перегонам, где в любой момент могли обстрелять – и красные, и зеленые, и партизаны. Мы с Пашей поднялись на паровоз и устроились у пулеметов на тендере. Утешала горячая каша, благоухавшая в нашем котелке, да звездная весенняя ночь, горевшая Стожарами в полнеба. Впрочем, любоваться небесными красотоми долго не пришлось: машинист Савельич призвал нас на помощь. После того как его помощник был убит в последнем бою, а кочегар сбежал, нам с Павлом приходилось выполнять их обязанности. Научились и уголек в топке шуровать, а когда уголь кончился, швыряли в огонь березовые поленья. Но теперь мы это делали с удвоенной энергией. Впереди был Новороссийск, а в нем брезжило спасение...

Утром 22 марта мы проскочили станцию Абинская, а к вечеру ее уже заняли передовые части Красной армии.

На пригородной станции Гайдук нас отправили на запасной путь. По главному ходу прошел штабной поезд генерала Деникина в сопровождении бронепоезда. Спустя полтора часа, после того как Весёлкин недвусмысленно навел орудия на здание станции и водокачку, нам перевели стрелки на главный ход. Даром что на бронеплощадках не было ни одного артиллерийского снаряда.

В Новороссийске творилось невообразимое: весь этот «тыловой вертеп», особенно припортовый район, был забит пехотными, кавалерийскими, казачьими частями. Все это, смешавшись в одну пеструю неуправляемую, но вооруженную толпу, стремилось как можно быстрее попасть на пароходы и корабли, уходящие в Крым. И только в самом порту коренастые шотландские стрелки в своих клетчатых – на потеху честному народу – юбках пытались навести подобие порядка. Смять их ничего не стоило, но за стрелками маячили орудийные башни линкора «Император Индии» и крейсера «Калипсо». В гудящей нервной толпе было немало раненых, приковылявших из брошенных госпиталей на костылях и так; увы, никому не было до них дела, и никто не собирался пропускать их к спасительным трапам Цементной пристани.

В ночь на 26 марта в Новороссийске жгли склады, цистерны с нефтью и взрывали снаряды. Английские корабли время от времени постреливали по горам – для острастки буденовских войск, которые, оставив в тылах тяжелую технику и артиллерию, налегке пытались ворваться в город. Если бы не корабли союзников, в том числе и итальянские, и французские, то буденовские части давно бы уже заняли предместье. А еще прикрывали нас два полка – Донской калмыцкий полк, сформированный из бузавов – сальских калмыков, и 3-й Дроздовский полк. Казалось, в пылу эвакуации о них забыли, и судьба их предрешена. Но генерал Кутепов вернул с моря вышедший в Константинополь эсминец «Пылкий» и добился, чтобы командир корабля принял на борт всех дроздовцев. Это был поступок мужественного и волевого генерала. А вот полк донских калмыков забыли на берегу. Вместе с ними был и обоз, в котором они пытались вывезти свои семьи. Калмыки не приняли предложение красных о капитуляции и держались до последнего патрона. Судьба бузавов была ужасной: красноармейцы порубили их вместе с домочадцами.

Наш «Белый воин» загнали на запасные пути товарной станции. Здесь мы высадили своих пассажиров. Женщины, навьюченные узлами и прочим скарбом, двинулись вслед за своими станичными казаками. Как мало шансов было у них попасть на пароход. На прощанье Ульяна сняла со своей шеи ладанку и перевесила ее на меня.

– Да хранит тебя Господь!

Она поцеловала трижды – два раза в щеки, а третий в губы – будто орденом наградила!

– Ну, бывай, казак! Может, свидимся где...

И ушла, прижимая ребеночка, к высокой груди. А к нам подскочил взъерошенный полковник-дроздовец с наганом на шнуре и двумя поручиками.

– Кто командир, где командир?

Полковник Весёлкин прыгнул к нему с подножки бронеплощадки.

– Немедленно высаживайте команду, а весь подвижной состав гоните в порт и топите в море! Да-да, в море! Это приказ главнокомандующего! Там уже пару бронепоездов сбросили. Не оставлять же их большевикам?! Не слышу согласия, господин полковник!

Весёлкин мрачно козырнул:

– Есть...

– То-то же! Исполняйте приказание!

Весёлкин собрал у паровоза всю бронепоездную команду, попрощался с каждым за руку и велел старшему офицеру вести ее в порт для посадки на суда. Сам же вскочил на подножку паровозной будки и махнул Савельичу рукой:

– Вперед!

Паровоз нехотя, словно предчувствуя свою близкую кончину, сдвинул колеса с места и медленно покатыл в порт. Люди, заплотившие весь грузовой двор, так же нехотя расступались перед пытящей машиной, и мы мало-помалу приближались к краю причальной стенки, за которой рельсы обрывались прямо в море. Савельич притормозил состав. Весёлкин соскочил с подножки, сделал несколько шагов по направлению к морю, перекрестился, достал наган и выстрелил себе в висок. Мы ахнули и тоже перекрестились! Наш командир, друг отца, дядя Нестор, рослый и видный, вдруг рухнул на колени, а потом медленно упал лицом вниз, выбросив руки к морю...

Савельич прыгнул с лесенки и полез зачем-то под паровоз. Лязгнула разъединенная сцепка между тендером и локомотивом.

– Вот что, хлопцы! – крикнул нам старик, поднимаясь в будку. – Я свою машину гробить не буду. Я на ней с младых ногтей пахал. Делайте, что хотите, но я прорвусь в Ростов. Если хотите – айда со мной. А здесь полная безнадега. И на корабли вам не попасть как пить дать. Ну?

Вырваться из здешнего кошмара хотелось любой ценой. В конце концов последовать примеру командира можно было и позже – в случае полной неудачи.

– Ну? – понукал нас Савельич к ответу.

– Едем с тобой! – махнул рукой Паша.

– Тогда шустро перекидайте дрова в будку!

Мы перебросали из тендера остатки дров и сложили их в небольшую поленницу у левой двери. Набили и топку до отказа. Тендер опустел. Савельич положил руку на регулятор пара и дал малый ход. Бронепоезд покатил к краю причала, в который бились волны беспокойного весеннего моря. Первой, оборвав сцепку, рухнула в воду некогда хвостовая бронеплощадка, за ней классный вагон, который служил нам родным домом. Он встал торчком, но его тут же сбила вторая бронеплощадка, а на нее, не успевшую затонуть, свалился многотонный тендер. От бронепоезда «Белый офицер» остался лишь паровоз да платформа, прицепленная спереди. Мы сняли фуражки. Мы прощались с бронепоездом, как моряки прощаются с кораблем, который вынуждены затопить своими руками. Собственно, так оно и было. И всего лишь полтора года назад большевики здесь же заставили черноморцев затопить большую часть эскадры...

Тем временем Савельич повернул реверс, и паровоз пошел прочь от опасного места. Он медленно катил из порта, покрикивая пронзительным гудком на беспечную публику, топтавшуюся на рельсах. Как ни странно, но никто нас в порту не остановил. Полковника-дроздовца, направившего нас сюда, не было видно. Мы миновали портовые ворота и выехали на станционные пути. Перед стрелкой Савельич затормозил, спрыгнул с паровоза и сам перевел рельсы на главный ход. Никто не обращал на нас внимания. Возможно, считали, что мы производим какие-то маневры. А маневр у нас был один – вперед, на север, к станции Тоннельная. Хватило бы только огня в топке да пара в котле. И хорошо бы, чтобы навстречу нам никто не вылетел. И много еще хотелось бы просить у судьбы, чтобы наш прорыв в Ростов удался.

– Вы, хлопцы, погоны-то сымайте. Вы теперь поездная бригада. Нам светиться ни к чему.

Старик был прав. Надо было придать себе вид настоящих паровозников – кочегаров. Паша спорол с шинели погоны, поцеловал их, положил в фуражку и швырнул в топку. Я последовал его примеру. Шинели наши были настолько замызганы паровозной работой, что вполне могли сойти за солдатские. Сняли погоны и с гимнастерок, и шевроны Добровольческой армии тоже спороли. Наганы выбрасывать не стали, переложили их поглубже в карманы шаровар, а кобуры тоже полетели в топку. Савельич подарил Павлу свою старую замасленную кепку, а мне досталась черная и вся в дырах вязаная шапка сбежавшего кочегара. Теперь вид у нас был вполне пролетарский.

Глава пятая. Анна на рельсах

Самое опасное место – пригородную станцию Гайдук, – уже занятую красными, мы прошли также без помех. Ничего опасного в паровозе с оторванным тендером буденовцы не увидели. Должно быть, решили, что их паровоз мчит за чем-то в тыл. Ну и слава богу!

Я бросил в топку последнее полено, когда Савельич, выглянув в окно будки, вскрикнул: – Ты смотри, что задумал, сволочь!

Мы выглянули в правую дверь: по проселку, пересекавшему дорогу, бежала девушка, придерживая на бегу разодранное платье. За ней мчался красный боец без ремня, а за ним его товарищ с винтовкой. Ясно было, для какой потребности была устроена эта погоня. Девчонка бежала наперерез паровозу, чтобы раз и навсегда избавиться от насильников под нашими колесами...

– А ну подбери с бегунка эту Анну Каренину! – кивнул мне Савельич. Я выбрался через левую застекленную дверцу на обходной мостик и перебрался на бегунок. Савельич сбавил ход до скорости пешехода. Девушка, увидев, что ее собираются спасти, бросилась ко мне, простерев руки. Я втянул ее на бегунковую площадку, а потом повел по мостику в будку. Черно-волосая, кареглазая, она запаленно дышала, кутаясь обнаженными плечами в длинные пушистые волосы. На груди форменного платья алел крест сестры милосердия. Мы вошли в будку, и я усадил девушку на сиденье помощника. Савельич задвинул рычаг подачи пара до отказа, но, как назло, начинался подъем, и паровоз очень медленно набирал скорость. Давление пара упало без подтопки наполовину. Ситуация осложнялась тем, что красноармейцы, упустив сладкую добычу, орали нам во всю мочь:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.